



Осенний август

Светлана Нина

16+

# Светлана Нина

## Осенний август

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=28988248](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28988248)*

*SelfPub; 2024*

### Аннотация

Роман о сестрах-дворянках, накрепко связанных взаимным соперничеством, завистью и истовым обожанием. Строптивая Полина с легкостью оставляет на погибель мать и младшую сестру, сбежав на Гражданскую войну. Вере придется в одиночку пережить красный террор, мечтая о возвращении с полей сражений жениха Полины. Молодость героев придется на противоречивые 20-е годы.

# Содержание

Часть первая	8
1	8
2	14
3	17
4	21
5	23
6	27
7	30
8	39
9	43
10	45
11	48
12	51
13	56
14	61
15	64
16	68
17	70
18	73
19	77
20	79
21	82
22	89

23	96
24	100
25	103
26	106
27	108
28	113
29	115
30	117
31	119
32	123
33	126
34	129
35	131
36	133
37	138
38	144
39	148
40	150
41	158
42	160
43	163
44	169
45	174
Часть вторая	181
1	181
2	185

3	188
4	191
5	194
6	197
7	198
8	202
9	204
10	209
11	214
12	219
13	221
14	226
15	230
16	236
17	238
18	240
19	245
20	249
21	252
22	256
23	259
24	262
25	266
26	269
27	273
28	278

29	280
30	284
31	287
32	289
33	294
34	296
35	298
36	301
37	304
38	311
39	313
40	315
41	320
Эпилог	323
1	324
2	327
3	329
4	331
5	337
6	339
7	344

# Светлана Нина

## Осенний август

*Здоровы были мы, безумием было окружающее.*

*Анна Ахматова*

# Часть первая

## 1

Дивный книжный вечер картинно затухал посреди янтарно-зеленых, изнутри светящихся волн леса. Полинин профиль неподвижно белел на фоне то бросающихся в пляс, то без видимых причин затухающих деревьев горизонта. Утопающее в твороге облаков солнце последней бессильной яростью немощно высвечивало ее сосредоточенные ресницы, обращая их в песочную паутину.

В тот вечер Полина в своей излюбленной манере с уставшей, будто недовольной хрипотцой, произнесла:

– Сбегу.

– Как? Куда?

– На войну.

Вера почувствовала знакомый прилив бессильного, выматывающего бешенства, переходящего в обыкновенную обиду, что сестра так мало с ней считается.

– А мы?

– Ты не понимаешь, глупая. Никого больше нет кроме этой стихии.

– Чушь... Жизнь всегда побеждает.

– Такое время, как теперь... Его никогда раньше не было.



Новое время, сметающее все...

– Каждое время в чем-то новое, – попыталась брыкаться Вера, чувствуя, как Полина затаптывает ее, потому что она говорит все не то и не так. – И при этом ничего в сути человеческой не меняется.

– Не меняется в сути, зато кардинально внешне. И это все равно меняет всю суть. И вообще, оставь свои буржуйские замашки, как не стыдно. Хочешь всю жизнь бездельничать, как наши предки? Бездельничать и предаваться сплину... Наскучившая безвкусица.

Вера смолкла. Полина всегда находила верные слова. Для сестер Валевских с детства не было ничего более постыдного, чем бездействие. Они воплотились в корне неправильными землевладелицами.

– Преступление не прочувствовать пору, такое выпадает далеко не каждому поколению. Мы счастливы, мы видим это.

– Каждому поколению в любом случае выпадают какие-то трудности и новшества.

Полина издала что-то похожее на всхлипывающий смешок.

– Особенно нашему поколению вылизанных дворяночек, выращиваемому на убой в брак.

– Не так уж и плох иной брак...

– Плевать, – сказала Поля, нежно и крепко держа сигарку. Это прозвучало убедительно и непререкаемо в хитросплетен-

ниях паутин сигаретного дыма.

Вера почувствовала себя бессильной и маленькой. Кто она с ее низменными интересами против сестры?.. С другими Поля умела быть – и была – искрометной болтушкой, влюбленной во всех понемногу. Но у Веры почему-то никак не получалось попасть в заклый сестринский круг. И вместо того чтобы делать с этим что-то, она предпочитала со стороны наблюдать за насыщенной жизнью Поли, страдая и втайне удовлетворяясь собственным мытарством.

Вера почувствовала, как добропорядочные устои отца – вовсе не лицемера, как не уставала отзывать о нем старшая дочь, ведь он в действительности верил в свои слова – восстают в ней против этого модного анархизма Полины, который та подхватила как лихорадку. От вируса в мозгу избавиться сложнее, чем от вируса в горле. Вера не чувствовала свои взгляды прогнившими, раз те не брызгались модными течениями, как ни пыталась Полина внушить ей, что, если Вера не мыслит подобно ей, она автоматически права.

Порой Вере становилось интересно, отложит ли сестра в нее свои личинки. В то же время она чувствовала, как даже без помощи Поли класс, к которому принадлежат их родители, такой с детства привычный в котором они существовали по инерции, становится застопоренным и вредоносным, невзирая на истовый разгул самых ослепительных идей.

Но не задумываться не получалось, особенно в той среде, которую Полина невольно тащила за собой в их дом. Не по-

лучалось так же, утопая среди бесчисленных библиотечных книг и валяясь поочередно на чуть тронутых потертостью и специфически пахнущих кожей диванчиках. Не выходило это и среди медлительной жизни в пропитанном поколениями особняке, где из каждого угла на сестер так и дышала пугающая история империи. И предки – образованные, но, вот парадокс, так мало понимающие суть и злобу дня богачи насмешливо следили за ними со своих пыльных стен.

Даже восхищение образом жизни Поли и ее духовной эволюцией не мешали Вере естественным образом замечать недостатки сестры. Вера научилась уживаться с ними, пребывая в свойственном так многим людям заблуждении, что в состоянии описать творящееся в душе другого. Но знать человека, даже с детства близкого, практически невозможно, ведь он меняется, пополняется, отмирает ежедневно.

– А об отце ты подумала? Каково ему будет объяснять, куда делась его старшая дочь?

– Ты себя слышишь? Объяснять кому-то, до кого мне нет дела, что-то там ненужное и неинтересное... Избавь меня от комментирования этого. Новая война будет. А в войну люди живут по другим законам. Более настоящим.

– Что сделал тебе отец, за что ты так его осуждаешь? – спросила Вера, как будто не хотела, но терпеть уже не могла.

Полина мрачно молчала. В небе кричали стрижи. Едва различимое движение темных глаз Полины вгрызалось в бездну памяти, выуживая оттуда полуправдивые воспоминания

о том, как отец, когда она была крошкой, мучился от невнимания жены, сосредоточенной на ребенке. И как брезгливо и опасно относился к дочери. Будто угроза – а это была всего лишь она, Полина. У которой Иван Валевский как будто всерьез хотел увести мать в края своей выгоды.

– Он хороший человек. Разве сделал он тебе хоть что-то плохое в детстве или теперь? Не считая ваши бытовые споры о том, где тебе учиться?

– Странно, как он может быть хорошим человеком, если в его поместье происходят самосуды, люди мрут от голода в то время как он кричит о том, что существующий строй прекрасен? Как лицемерен человек...

– Может, лицемерие – лишь наша многогранность? Даже взгляды наши как часто – лишь наитие. Идешь иногда весной... и всем хочется улыбаться. Но затем вновь сжимается что-то внутри до зловредной точки. И мы спешим обвинять других в приспособленстве. Лицемерие – удобное слово, если хочешь свалить всю вину на другого.

Полина искоса посмотрела на сестру с одобрением.

– А то, что он взял мать, явно равнодушную к мужчинам, тоже говорит о безграничной порядочности их класса? Мы по крайней мере из себя святош не строим. И в этом наша сила.

– Да что ты несешь?! Совсем уже с ума сошла со своим свободомыслием?!

– Ну-ну, – усмехнулась Полина.

Вера порывисто встала и, не прощаясь, ушла в веранды, старательно следя, чтобы дикие слова сестры не зацепились за ее сознание и не породили свои производные.

В отрочестве Вера пережила период, когда считала, что мать достойна большего, что отец испортил ей жизнь. Сколько девочки себя помнили, они идентично воспринимали какую-то недоговоренность со стороны родителей. Это проskalьзывало в полувзглядах и редких словах, застывающих на губах. Но тем не менее это не мешало гармоничному сочетанию их жизней, взаимодействий и симпатий. Потом гуманное, мудрое в Вере победило. Она учуяла, что виноватых нет, это жизнь, и в ней каждый не только сам виноват перед собой, но и способен отравить жизнь даже тому, кого считает своим тираном.

Полина осталась сидеть на месте в той же позе захворавшей королевы.

– Как противно до сих пор ощущать себя в России Базаровым! – сказала она вслух с ожесточением, будто сожалея о том, что рядом нет собеседника, который бы одобрил эту отважную фразу.

## 2

Непомерно пышная прическа из волос, которые всегда так восхищали Веру – спутанных прядей неопределенного, между золотистым и темно-коричневым, цвета. Вдумчивый, изучающий, как будто даже недоумевающий из-за всего вокруг взгляд.

Веру тяготила дистанция, которую почему-то всегда водила между ними сестра. Но Полину это не трогало. Она всего лишь отражалась в зеркале, как и во всей ее, Вериной, жизни – невероятно настоящая, настолько, что становилось страшно от ее дышащего присутствия, от ее полнокровности и источаемой силы. От ее пребывания в комнате становилось даже жарче. Ее яркие зрачки как бы бессильно останавливались на собеседнике в попытке что-то сказать и предпочитали наблюдение так же часто, как демонстрацию себя. Ее блестящей загорелая кожа, специфически пахнула так, как пахнет здоровый покров молодого организма – влагой и пылью вперемешку с какой-то странной, травяной словно, пряностью, будто листья с деревьев, под которыми она проходила утром, облепляли ее и отдавали ей свой горький сок. Ее руки, выбивающиеся из сдавливания рукавов, были сильны стянутыми мышцами с вкраплениями веснушек. Вся несдержанная и преодолевающая под стать своему двадцатому веку. Не человек – воплощенная античность на новый манер.

Когда Вера случайно дотрагивалась до ее рук, сталкиваясь с Полиной в их обширной столовой или библиотеке, они были не мягкими, как обычно у женщин, а упругими и твердыми за первым обманчивым впечатлением шелковистости покрывающей их кожи. Руки спартанские, в которых не было ничего белого и мягкого, бездарно изнеженного под дух ускользающей эпохи – лишь золото и сталь.

Полина смотрела на Веру и в свою очередь ощущала прилив нежности. Совсем ребенок, чистый и хорошо пахнущий, с дивными переливчатыми волосами такого странного для их семьи цвета – откуда только взялась эта въедливая рыжина? Даже собственный высокий рост утверждал Полю в сознании легкой покровительственной заботы по отношению к сестре.

После созерцания сестры и редких душевных, а чаще политических разговоров Вера забиралась на свой чердак и продолжала мечтать о Полине, которая была с ней под одной крышей. Полины парадоксально не было слишком много при всей ее весомости.

В темноте без свечей она замечала свои отражения в узких стеклах чердака и различала в них мать, какой она была в ее, Верином, детстве. Глаза, темные от глубины и размера, но зеленые по существу, несущие в себе мистический отпечаток эволюции. Впечатались в ее всегда теплые радужки отголоски первобытного родства с растениями, которые она так любила. Все говорили, что на мать больше похожа

Полина. Но Вера для себя давно решила, что это неправда.



### 3

Вера смутно помнила из глубин памяти всплывающий всегда темный Петербург с его усыпляющими гостиными, залитыми свечами и прохладой. Почти все детство Вера вспоминала как что-то тянущее непередаваемой грустью, трагизмом зимы. Но и детские забавы, свежий искрящийся снег. Вместе с крестьянскими детьми, визжа и валяясь в сугробах с перевернутыми санями, сестры задыхались от испарины, захватывающей их под полушубками.

Зимой в Петербурге мало что затмевало обмерзлость, опутывающую шерстяными носками на разгоряченных ногах, изматываемых, но без этой сбруи обреченных на замерзание. Вера поздней ночью посиживала у продуваемого окна в долгой комнате с безмерными потолками и взирала на величественную серость за стеклами, зная, как озарена в этот момент Дворцовая плеядой огней и цветов. А потом бежала к матери с Полиной, чтобы послушать какое-нибудь занесенное веками сказание.

Гораздо больше воспоминаний у нее сохранилось о доме в деревне. О долгих прозрачных переходах от воздуха к бледной желтизне пожухлой травы, реках, блестящих, белых, отражающих, совсем нестеровских. Ненавязчивость всех оттенков коричневого, переходящего в желтый. Широта. Русь. Та самая, тоскливая и необходимая, делающая сердца людей,

возвращаемых в ней, такими большими и такими неприка-  
янными. Как только начала понимать устройство людских  
душ, Вера утверждала, что настоящая широта может быть  
лишь в человеке, выросшем на природе.

Трава и солнце там восставали какими-то неестественно  
раскрашенными, пробитыми через призму желто-красных  
стекол, выжигающих все, на что были направлены. Воздух  
забивали дым и туман, оставшийся от дневных костров. Му-  
чительный запах горелого дерева, залетевший в чистый про-  
ветренный дом. И прохладное летнее утро в ощущениях те-  
ни... Не раскрывшее еще свой изматывающий зной. Подпе-  
вающее этому жмурое небо.

Больше всего Вера любила застывать возле окон. И то, что  
вставало за ними, было уже второстепенно. Пышный Петер-  
бург, прекрасный несмотря на полугодичную осень, которая  
даже подчеркивала его ослепительность. Или имение их се-  
мьи, зелено-золотой круговорот листьев и травы в одних и  
тех же местах. Пейзаж, не меняющийся здесь веками. Тягу-  
честь и прелесть искусственного света осенних вечеров, пе-  
реходящих в усталость. Усталость творчества и фантазии, не  
оставляющая настроения или времени, как безумная летняя  
беготня.

Тихое окно, выходящее в сад. Верино. Окно, сформиро-  
вавшее ее куда больше окружающих. Окно познания, по-  
коя и образов. Окно гармонии и непостижимости созна-  
ния. Окно, отворяющее закаты, стремительно покрывающи-

еся холодком сумерек, которыми она беззастенчиво любовалась как своими. Пахнущее, поющее, захватывающее в пряность своих запахов, предвкушающих осень или отходящих от дневного зноя. Вера понимала, что только в моменты лицезрения этого она и существует по-настоящему, не цепляясь за прах повседневности и вечных петербургских камней.

У Веры было две жизни – выставленная на всеобщий обзор, где она утягивалась в корсет, терпела лето, когда просто хотелось содрать с себя все до нижней рубашки и пыталась подражать остальным женщинам, чьими манерами быстро заражалась, потому что ее приучили любить изысканность. И истинная, начинающаяся, когда все оставляли ее в покое. Вера с трудом думала о замужестве и прочих связанных с ним неприятностях – сможет ли она тогда в достаточной мере оставаться в одиночестве? Она не верила, что способна быть счастливой в других условиях.

Только в неспешном и влекущем мире русской усадьбы, где даже туманы поэтичны, а выходящие из них девушки в теплых накидках кажутся предвестницами открывающейся гармонии, она не думала о том, что ей чего-то недостает. В стройных бежевых рассветах, в потонувших в небе грядах облаков. Такие девушки с вогнанными в подкорку мозга бесчисленными страницами русскоязычных текстов часто рождались на исходе засыхающей, но оттого втройне поэтичной эпохи хрупких шелестящих платьев, неосознанности женщин и прорывающихся авангардистских течений. Они для

чего-то рождались и жили, вот только для чего, понять до конца не могли, обманываясь предубеждениями и незнанием собственного естества, так благодушно дарованного им природой.

В то время их мать уже была степенной женщиной с легким добавлением белых мазков в волосы. Женщиной, которая с большим шиком и достоинством выглядела на свой возраст и умеренно позволяла себе немногословное щегольство.

Вера испытывала странный диссонанс от воспоминаний о ней как о чем-то теплом и персиковом, во что тыкалась щеками, когда засыпала, плюхаясь на разноцветье книг, которые мать читала ей перед сном. Родной голос начинал хрипеть от долгого чтения вслух, а Вера разрывалась между жадной узнать финал истории и жалостью к уставшей матери. По мере взросления не Вера отстранялась от матери, а мать словно отгораживала ее от себя, будто вталкивая в мир страшной бурлящей революционными настроениями империи.

Сестры Валеvские выросли в обманчивой изящности жизни, где каждый предмет будто специально был подобран и продуман. Шелк и атлас, в которые все три облачались ежедневно на потеху окружающих мужчин. Их жизнь только потому и была поэтичной для окружающих, что упаковывалась в оболочку кудрей и кружев. Порой Вере надоедали эти нескончаемые маскарады, но, когда она украдкой смотрела на Полину, задумчиво бродящую по комнатам, на ее

талию, перехваченную затейливыми поясами в духе экспериментов ускользающего времени всеобщей женственности и всеобщего бессилия, то заглядывалась. Мир вечной женственности и вечного несчастья, какой-то недосказанности при обладании всем.

Их большой любимый дом, где у каждого таились свой мир и своя драма. Где даже стены пропитались десятилетиями семейных приданий. Потайные места, сквозняки, открытые балконы со слегка колышущимися занавесками и шкапами, таящими на запыленных полках вещи минувших эпох. Вещи, прежде что-то значившие для тех, чьи мысли утеряны навсегда.

Анна Ивановская, гимназистская подруга Веры, поражающая зло подвывающей силой при первом же взгляде на нее, ворвалась в гостиную и с размаху плюхнулась на тахту. При сравнении ее с младшей Валеvской можно было бы сразу сделать вывод, что Ивановская куда более «эмансипе», хотя мыслили приятельницы в данном вопросе аналогично. Их сплотила эта солидарность в законсервированной муштре. Черное, без каких-либо украшений платье и простейшая прическа безошибочно подчеркивали озлобленную направленность хмурого взгляда Ивановской.

Анна не показывалась в учебном заведении уже две недели, и Вера, тщетно закидывая ее письмами на лощеной бумаге, понятия не имела, чем вызвано подобное отступничество. Неприятными догадками всплывали обрывки мыслей, что что-то учудил папаша Анны, промотавший все алкоголь, грубый с женой и дочерью, но панибратствующий с сыном, которого считал бесценным даром в силу врожденных половых особенностей.

Неспокойствие Анны неприятно ужалило Веру.

– Где же ты была все это время? – спросила Вера, не уверенная, с какого края подступиться.

– Он довел ее, – отчеканила Анна. – Довел до края. Швырял в стену, а я набросилась на него со спины.

Первичный всплеск вериной радости окончательно сменился опасливым ожиданием.

– Из-за этого ты не появлялась на учебе?

Анна сощурила глаза.

– Он мне запретил. Дражайший папаша вдруг возомнил, что мне непременно надо замуж. Сейчас же, немедленно. Что я слишком, дескать, образованная, чтобы найти партию! Да я их всех на дух не переносу, будь они прокляты! Насмотрелась на счастливый брак. И держал меня дома, пригрозив лишить тех крох наследства, которые мне полагаются. Хоть я и презираю этого типа до изнеможения, но получить от него за поруганное детство какую-никакую компенсацию было бы делом благородным. Но это все ерунда. Если бы не мать, я тотчас бы ушла из дома и продолжила образование несмотря ни на что. Но ее я бросить не могла.

– Наши матери похожи в чем-то.

– Твоя хотя бы пытается брыкаться, моя же полностью лишена крупиц воли. Поэтому волю пришлось проявлять мне. Понимаешь, с каждым годом он все более дуреет. Уже в том году я чувствовала, что грядет нечто непоправимое. Ее семья не хочет ее обратно. За мужем – так и не приходи обратно с жалобами. – Анна хмыкнула.

Такой – странно говорливой, несдержанной, злоязычной по – темному, а не пластично, как Полина, эта девушка бывала лишь с Верой – единственным человеком, с которым у нее возникло сродство и общность интересов. Вере льсти-



ло, что эта замкнутая и для многих неприятная отсутствием привычных девчачьих ужимок девушка с ней проявляет откровенность.

– Кончено с моими высшими курсами... Он все угробил. С самого начала от него лишь разрушение, – Анна в мрачном нетерпении поднесла большой палец к губам.

– У меня есть некоторые сбережения.

– Брось. Все кончено для меня. Валяется мой дражайший папаша в углу с пробитой головой.

До Веры с трудом дошел смысл сказанного. Она в упор предпочитала не замечать затруднительные и разлагающие факты бытия.

– Ты...

– Теперь мне один путь, чтобы избежать каторги. В революционные круги, под защиту тех, кто уже вне закона. А с моими не лучшими пропагандистскими задатками... Даже не знаю.

– Я помню, – с трудом опомнившись, вмешалась Вера, – как ты говорила, что убила бы его, если бы не расплата.

– Он иного не заслужил. Он все детство изгалялся над нами. Похлеще старика Карамазова, понимаешь? Тот – то им просто денег не давал и бросил малютками. Я бы предпочла это, чем то, что на моих глазах все мое детство он бесчинствовал, пуская по ветру наследство матери. И вот теперь, когда мы освободились от сволочи, нет уже наследства. Да и мне пора в путь.

Вера, сжав губы, смотрела на Анну.

– Что же теперь? Неужто прощаться?

– Боюсь, мой друг, что да. За тем и пожаловала, голубушка.

Вера бросилась к Анне. Слезы в глазах той поразили ее больше, чем все сказанное до этого. И вот Анна уже испарилась, испуганно озираясь и унеся с собой накопленные Верой деньги, которые та мечтала потратить на шкатулку слоновой кости. Вера уперто совала ей бумагу, а Анна, вопреки обыкновению, не увертывалась от прощального подарка.

– Ну, матушка... Свидимся еще.

Вера улыбнулась.

– Главное, что нет его больше. Столько лет ты об этом мечтала.

– Не так стремительно... Но да.

– Посмеемся еще над всей этой канителью, – неуверенно заключила Вера, не понимая, что говорить.

## 6

Полина посмотрела на мать – стареющую, но виртуозно умеющую быть привлекательной, когда ей этого хотелось. Она чувствовала в ней силу, подобную своей.

– Смотрю я на тебя... – протянула Мария, отстраненно наблюдая за тем, как дочь собирает учебники. – В тебе столько энергии... Может, и я бы так смогла. Но я жила не в то время.

– Ты жила время, когда женщины возводились в ранг божеств и вертели гениями.

– Это был удел единиц. И потом, несмотря на то, что они оставили такой вклад в истории и кем-то там вертели, они были лишь музами, лишь теми, что кого-то на что-то навел. Хозяйками салонов, коллекционерками, а не их гостьями. Как ни крути, роль эта пассивна. Я жила во время, когда женщине надо было сдвинуть с места Эверест, чтобы быть признанной гением. И потому многие канули в безызвестности, не получив ни образования, ни шанса – кому везет с отцом, который одобрит? Говорят, будто, если хочешь, тебя ничего не остановит, но нельзя недооценивать страхи и зависимость от мнения окружающих. Как много нужно человеку, чтобы состояться... Только ваше время хоть что-то начало делать с этим. Но я не верю, что образ мышления планеты изменится за одно поколение. Люди слишком цепляются за мрак.

– Ты бы смогла, я думаю. И теперь еще не поздно, – про-  
бормотала Полина неуверенно.

– Может, я не тем занималась. Я ты учись, пока можешь.

– Может, тебе просто не хватает оголтелости. И в этом ты  
ближе к Вере...

– Мы все – бесконечные отражения друг друга, особенно  
родственники. Мы все во всех, понимаешь?

Мать чувствовала отчуждение от дочерей, потому что они  
были слишком прогрессивны и учили ее жизни. Она ощу-  
щала свою им ненужность, опыт ее был слишком обесценен  
устарелостью и смешон на фоне их феерии.

Полина пробурчала что-то отвлеченное и выбежала из  
комнаты в своем простом сером платье, но замерла на поро-  
ге.

– Представляешь, – усмехнулась она. – Сегодня я полу-  
чила письмо, видимо, адресованное мне по ошибке. Письмо  
возлюбленной, отношения с которой зашли в тупик. Страст-  
ное, почти поэтичное письмо... Мне стало так грустно.

– Что ты сделала с ним?

– Оставила. Рука не поднялась выбросить.

– Ты не стала отвечать на него?

– Зачем?

– Если человек умеет любить, такого человека стоит  
узнать.

– Умеет любить другую женщину.

Мария замолчала.

– Тебе писали такие письма, мама?

– Случалось – протяжно отозвалась Мария.

Полина не решилась продолжать расспросы.

– Я не хочу замуж! – воскликнула Вера в неподдельном волнении в ответ на рассказ о предсказуемо несчастливом браке их кузины.

Возможно, это прозвучало патетически. Но Полина, заплетаящая ее блестящие мягкие волосы, с одобрением выслушала это выступление и рассмеялась. Красная комната с резными рамами зеркал и полотен подчеркивала белизну ее кожи и зубов.

– Девушки, которые так говорят, находят мужей гораздо быстрее, чем охотницы за мужчинами...

– Чушь!

– ...потому что побуждают обуздать себя.

– Мне не нужно, чтобы меня кто-то обуздывал!

– Наше поколение так и хочет, чтобы его кто-то обуздал, – улыбнулась Полина почти ехидно.

– Ты слишком любишь производить впечатление, поэтому выбираешь парадоксы.

Полина красноречиво приподняла брови.

– Я... Боже, – с хрипотцой отозвалась Вера. – Не понимаю, зачем они делают это.

– Что?

– Портят себе жизнь узаконенным рабством, чтобы потом быть несчастными лет шестьдесят.

– Как хорошо, что ты понимаешь это. Но они не так умны.

Им проще подчиниться.

– Зачем?

– Так легче, чем пытаться что-то изменить. Легче сделать, как от тебя ждут, а потом всю жизнь винить тех, кто тебя принудил, в своих несчастьях.

– Это так подло.

Полина рассмеялась, как будто озаренная новой идеей.

– Именно что так, милая. Потому, – нараспев добавила она, – я не с ними.

Вера благоговейно замолчала.

– Все, идем, иначе сборище внизу так и останется кучкой бестолкового люда, которому нечем занять себя вечером в деревне.

– А ты чем лучше? – спросила Вера, с удовольствием вертясь возле зеркала и рассматривая свои волосы, будто видя их впервые.

– Я занята не только вечерами, – ответила Полина, открывая дверь.

Собравшимся внизу представился великолепный шанс лицезреть схождение вниз обеих хозяйских дочерей, блистающих разнородной красотой и неуловимым сходством.

– Что он тут делает? – прошипела Поля на ухо сестре, замедляя шаг.

– Кто?

– Ярослав!

– Какая разница? – недоуменно отозвалась Вера, вступив в гостиную и приветствуя собравшихся.

Ярослав представлял собой прежнего друга детства, периодически маячившего на званых вечерах и вызывающего своим присутствием неловкость для Поли. Детская дружба закончилась еще до взросления. При всей своей общительности Полина не имела понятия, как вести себя с молодым человеком, с которым она за несколько давних лет успела рассориться на почве снежков и сфер влияния на остальную ребятню. Полина не упускала возможности бросить в его сторону несколько уничижительных эпитетов. И ответный взгляд Ярослава лишь убеждал ее в справедливости своего поведения. Оба, очевидно, принимали друг друга как достойных соперников и побаивались в открытую продемонстрировать друг другу не только неодобрение, но и скрытый интерес.

Ярослав, сын образованных, но не слишком родовитых родителей, с пролетарской точки зрения мог бы сойти за буржуя. С точки зрения Ивана Валевского он был просто разночинцем, который каким-то образом избежал отправления в армию. Его интересы и круг общения, хоть и были нетривиальны, с трудом тянули на революционные. Проще говоря, он просто маялся ерундой и жил в свое удовольствие. Вера плохо ориентировалась не только в знакомых Ярослава и Полины, но и в своих собственных.

– Вот и дочери, – изрек Иван Тимофеевич, посмеиваясь.



– Красавицы! – слащаво принеслось откуда-то.

– Лучше одной женщины могут быть только две. Особенно такие, – рассыпался некий остряк из не переводящихся в Российской империи из-за избытка денег и времени.

Полина скривила гримасу.

Обманчивая картина стояла перед глазами собравшихся. Две юные сестры, воздушные и элегантные в своих невесомо – тяжеловесных платьях – последних отзвуках рвущейся эпохи. Улыбающиеся друг другу в момент перемирия.

Иван Валевский лицезрел другое. Он наблюдал торжество тщеславия, сдобренного стальным призвуком. Удивляясь, что остальные не видели кремня и эгоизма в обеих, предпочитая создавать в обрубленном воображении изящные манекены. Даже младшая, Вера... Он подозревал, к чему приведет влияние на нее Марии и Полины, этого нестойкого, но поразительно действенного союза. Честолюбие Полины было настолько мощным, что не нуждалось в показном удовлетворении, а вот Вере, похоже, нравилось играть в доброту и отзывчивость. Делая хорошо другим, она начинала больше любить себя. Вера раскрывалась лишь когда ей было комфортно. Поля, наоборот, подминала под себя и сама соорудила себе комфорт.

Вера в нетерпении высматривала в толпе своего нового знакомого, с гордостью желая представить его сестре. Она вела себя так, словно он уже наблюдал за ней. Это был первый раз, когда не Полина представляла сестре кого-то инте-

ресного, а наоборот.

Рассыпаясь в ответных любезностях всем и вся, Вера заметила рядом с по обыкновению серьезным Ярославом молодого мужчину, внешность которого показалась ей знакомой. Он оценивающе смотрел на нее в упор. Вере стало неприятно.

Для Веры в обществе важно было прицепиться к человеку, который любил говорить и мог бы в случае необходимости заболтать подходящих людей, заслоняя ее. Чаще всего это была Полина, которая просто растворилась. И неожиданно всплыла рядом с вериным гостем. Двое, которых она так жаждала познакомиться, уже каким-то мистическим образом спелись.

Матвей, встретившись взглядом с Полиной, встрепенулся и заулыбался.

– Матвей! – радостно озвучила Полина, пожимая ему руку.

– Я столько слышал...

– Замечательно! – глаза Полины блестели.

Находящемуся неподалеку Ярославу она едва кивнула и вернулась к улыбкам Матвею.

– Вы знакомы? – спросил подошедший Ярослав низким звучным голосом. И продолжил, не дожидаясь ответа. – Зная твои таланты, не удивился бы.

Полина с легким раздражением повернулась, намереваясь ответить, что для полноценной социальной жизни он ей не

требуется, и впервые увидела незнакомца, который произвел такое впечатление на Веру.

– Очень рад, – сказал тот и галантно поцеловал ее руку. – Игорь Андреев.

Полина, привыкшая к более простому проявлению чувств между полами в среде, отрицающей мещанство, почти сконфузилась.

– Добро пожаловать, – ответила она тихо.

Игорь поднял голову от ее распластанной на его руке длинной ладони. Поля сосредоточенно смотрела на него, даже забыв по инерции улыбнуться.

Вера ничего не слышала ни о каком Игоре, но была приучена к бесконечно новым знакомствам Ярослава. Наверное, он подцепил его на очередной попойке с доступными девицами. Подумав это, Вера одернула себя.

– А ты, – кивнула Полина Ярославу, – лучше следи за своими, – она зацепила смеющегося Матвея и утащила в противоположную сторону залы.

Ярослав буркнул что-то то ли Вере, то ли пустоте.

– Ну что, Слава, – подошедший к ним хозяин дома дружески похлопал его по плечу. – Как отец?

– Все по-старому. Ворчит о политике и хвалит земледелие.

– Все верно, все верно... А кто этот господин с тобой?

Игорь округлил глаза в каком-то непонятном для Веры... благоговении?

– А, прошу любить и жаловать – Игорь Андреев.

– Что же, сын того самого Андреева?

– Приемный, – отозвался Игорь со смешком, сменив выжидающе-округленные глаза на неприятный прищур.

Вера предпочла ретироваться и подошла к матери, с царственным видом стоящей поодаль.

– Одно и то же каждый раз, – протянула та приглушенно.

– Зачем ты участвуешь в этом? Отец сам бы мог справиться, это его стихия.

– Ты переоцениваешь меня, когда думаешь, что мне совсем плевать на свой долг, даже если он заключается в таких смехотворных вещах. От скуки и потерянных крыльев подобные сборища составляют важную часть нашей жизни.

Мария всегда была для Веры недоступной. Чем больше Вера узнавала, тем сложнее и противоречивее становился клубок материнских черт. Странно – Мария всегда была рядом, но Вера остро ощущала недостаточность матери, ее недосказанность. Ее было мало, катастрофически мало. Из-за этого с самого детства Вера больше тянулась к женщинам, казавшимся ей ближе, но загадочнее, чище, но противоречивее по сравнению с громким отцом. Порой Вера со страхом думала, что Мария разрывается стихиями, темными сползающими массами желаний. Хотя внешне казалась едва ли не застывшей.

Мужчин всегда было достаточно, они не поражали такой чувственностью и сложностью. С ними было весело, инте-

ресно... Их хватало. Они насыщали. Марии не доставало. Ее нежных рук, которые ласкали ее в детстве. Ее откровений о молодости, влюбленностях в каких-то навек ушедших молодых людей, от которых дочерям достались лишь смытые образы... Мать поила их собой, своими воспоминаниями. Причудливо сплетались в душах дочерей ее качества, преломляясь, исходя из противного. Порой Вера не могла распознать, рассказала ли ей что-то мать или она помнила это сама.

Вера с нежностью посмотрела на Марию и в тот же момент заметила, каким изучающим, почти хищным взглядом следит за хохочущей с Матвеем Полиной Игорь. У Веры мелькнула невольная мысль, что незнакомые люди не одаривают друг друга такими взглядами. Впрочем, может, ей только казалось так, ведь она едва начинала жить.

В это время до обеих донесся недовольный голос графини Марьиной, расплывающейся женщины с напудренными плечами:

– Я бы на вашем месте, милочка, не показывала бы мужчине своего расположения так явно.

– Если бы мне нужен был ваш совет, – безупречным тоном отозвалась Полина, – я бы его спросила.

Графиня закусила удила. Вера пришла в восторг. Мария спокойно взирала на произошедшее.

Графиня приблизилась к Марии Валевской и, дыша праведным гневом, бросила:

– Вашу дочь едва ли можно назвать хорошо воспитанной.

– Настоящей девицей, это вы имеете ввиду?

– Хотя бы!

Мария посмотрела на непрошенную рецензентку с какой-то отстраненной жалостью, отдающей глубинным непониманием ее порывов, а оттого безразличием к ним.

– Настоящая женщина – это нечто ирреальное. Я так и не знаю, что включается в себя обширное понятие «настоящей». Неужто нам для этого гордого звания недостает наличия тела?

Графиня Марьяна фыркнула и ретировалась с каким-то неодобрительным возгласом про прогнившее общество.

Вера не могла сдержать широкой улыбки.

## 8

Полина попрощалась с гостями и решила ехать к друзьям на другой конец города. Она стояла на крыльце и задумчиво курила, выдыхая дым в сторону звезд. Курила Полина в те сверкающие дни, наполненные неспешностью и временем – вечной нужной материей, только с мундштуком, чтобы не запачкать пальцы. О пачкании зубов она не задумывалась.

Сзади слышались мужские голоса. Обернувшись, она различила стройные силуэты Ярослава и Игоря.

– Славный вечер, – сказал ей Ярослав для того, чтобы не создавать неловкость молчания.

Полина кивнула и неожиданно насупилась. Ярославу захотелось уйти, потому что он не был готов в очередной раз сталкиваться со строптивой соседской дочерью.

– Как вам прошедший вечер? – некстати для Ярослава спросил Игорь, больше обращаясь к Полине.

– Вечер как вечер, – отозвалась та, хотя прекрасно провела время, а захандрила, только выйдя из дома.

– Они там начали стихи читать, – добавил Ярослав.

Полина пожала плечами.

– Как забавно мы обманываемся собственными инстинктами и превращаем их в поэзию, – веско произнес Игорь.

Полина прищурилась, почуяв возможность пожить демагогией.

– Что вы имеете в виду? – спросила она, понизив голос.

– Развитые личности привыкли играть и перед собой. Сами их глубокие чувства – уже игра, следствие воспитания. Мы не способны на то, что не диктуют нам тела. Половой инстинкт – реальность, а вот влюбленность и ревность – иллюзия социума.

– Вы хотите доказать мне, что то, что я чувствую, я на самом деле не ощущаю?

– Человеческие чувства – иллюзия, выдуманная нами в процессе цивилизации от избытка свободного времени и потребности в актерстве и копировании. От природы у нас только инстинкты.

– Мы уже опередили природу. Создали что-то, отличное от ее диктовок.

– Что, например?

– Искусство.

– Мы – часть природы. Значит, и все, что мы создаем, лишь ее деяние.

– Хитро, но неверно.

– Почему же?

– Вы обесцениваете все, чего добился человек, что есть в нем светлого и не поддающегося описанию. Не искусство создало нас. А мы его. Вы отходите от первопричины.

– Описать можно все, было бы только желание.

– Даже ирреальное, интуитивное?

Игорь раскрыл рот, а Полина вскричала вдогонку:



– Ах да, это выдумка романтиков! Хотя уж меня-то в романтизме никто бы не рискнул упрекнуть, я не приветствую этот взгляд.

Полина слегка слукавила – она истребляла в себе то, что некоторые из ее мужского окружения назвали бы романтизмом.

– Мы копируем чувства друг друга, что-то из-за окружения считаем приемлемым, а что-то нет. Нас воспитать куда легче, чем принято считать. Искусство учит нас, как надо чувствовать и эти чувства выражать. Мы – заложники театральщины, чьего-то видения и воображения. Чувства – в огромной степени приобретенный навык, обтесанное проявление инстинктов собственничества и выживания.

– Странно доказывать влюбленному человеку, что его чувства – лишь копирование из чьих-то стихов.

– Сама по себе любовь не имеет значения. Значимо отношение к ней того, кто ее питает. Мы слишком часто позволяем ей сесть себе на шею.

– Я вижу, что вы преуспели в умении казаться оригинальным и прыскать в глаза якобы верными парадоксами, но мне вам не удастся затмить разум.

– И это тоже вопрос отношения, – Игорь усмехнулся.

«Да что он о себе возомнил!» – пронеслось в голове у Полины.

Ярослав взирал на обоих с недоуменно-скучающим видом.

В их кругу, который невольно – безмолвным не препятствием – одобряли родители, поощрялось свободомыслие, непринужденные беседы о половом вопросе с непременной затяжкой, отчего говоривший выглядел фактурно и невозмутимо.

– Можно пойти еще дальше, – непринужденно продолжила Полина, хотя все уже успокоились.

Игорь с готовностью слушать вытянул шею.

– Можно даже предположить, что каждый, кто думает о другом, думает на самом деле о себе.

Игорь сощурился.

– Кто знает? Может, и так.

Полина, высоко подняв подбородок, спустилась по ступеням и остановилась внизу, царственно обернувшись.

– Ну, приятно было пораскинуть несуществующими проблемами. Доброго вечера.

Спустя несколько минут она зачем-то вернулась, словно черт дернул. Игорь стоял у парадной, под свежим, так и не начавшимся дождем. Стоял один. Должно быть, Ярослав ускакал куда-то кутить.

Полина глядела испугано и строго. Не улыбалась, ничего не говорила. Она лишь смотрела вглубь, спокойно, добро, сосредоточенно. Он еще долго говорил ей что-то. Он смеялся, он угождал. Полина в ответ не улыбалась и не пресекала поток «сентиментального бреда», как она раньше бы окрестила подобное поведение.

Сплоченность мальчишек из прошлого, некоторые из которых уже погибли на фронтах Первой мировой войны, внушала Полине тепло и уверенность. В среде мужчин она казалась себе любимой и равной. Когда она поняла, что это не так, что другие люди непрошенным законом сужают возможности ее существования, Полина начала ревностную борьбу со строем и религией, его питающей. Людям ее склада много не требуется – в религиозном обществе они против священников, а в атеистическом против отрицания. Даже те, кто видел незрелость Полининых идей, невольно проникались сочувствием к этой красивой девушке с умными напористыми глазами.

С детства окруженная мальчишками, дворовыми, дворянскими, будучи их союзницей и иногда предводителем, Полина изучила мужчин, она верила им. Ее неприязнь к отцу не препятствовала дружбе с мужчинами. Как и многие женщины, она самонадеянно полагала, что понимает их.

Парадокс Полины заключался в том, что, ненавидя гипотетических мужчин, которые могли бы подавлять ее, она ладила с теми, кого знала, испытывая раздражение из-за собственной ограниченности в свободе действий.

Вера сумела сплести в себе мать и отца, полюбить и найти общее и с мужчинами, и с женщинами. Полина не смогла.

Она самозабвенно декларировала о свободе женщин и обличала тех, кто от этой свободы бежал. Полина осталась глубоко уязвлена тем, что она не мужчина, и от бешенства на это назло кричала о правах женщин. Потому что ее натура не терпела бездействия. Раз уж так вышло, она предпочитала что-то менять. Полина злилась почти на всех женщин за пассивность и свое ограниченное положение в том числе. Ее бесило, что из-за них она должна ломать предвзятое изначально мнение о себе. Женщина, по мнению Полины, обязана была заслужить уважение, чем-то себя выделив. Мужчинам же это право давалось с рождения. А мир требовал энергии на другое. Поля относилась к женщинам как мужчины – потребительски. И одновременно жалела их за тяготы. Диссонанс внутри отравлял. На свой пол Поля взирала с недоумением.

В ее сестре был похожий раскол, но та, больше интересуясь искусством, чем политикой, научилась ценить и любить женщину в полотнах, в попытках, порой с потрясающим результатом, самой женщины на творчество. Так она примирилась со своим полом.

В день, когда она впервые увидела Матвея Федотова, Вера одна сидела в театре. Без жемчугов и царских лож.

Давали какую-то остро политическую пьесу. От политики Веру подташнивало, но человеческие конфликты никогда не теряли для нее привлекательности. Бархат кулис, реквизит, поставленный лихими рабочими в бесформенных брюках. Разношерстный зал, наполненный напудренными дамами, пытающимися отвлечься от своих визитов к гинекологам. Вылетали в полутьме горжетки, темные уголки помад, объемные волны на блестящих волосах... Перебитое человеческое счастье, прикрываемое тряпками. А где-то поодаль, чинно подобрав огрубевшие руки и затаившись, водрузились простые работницы.

В антракте Вера достала из сумочки зеркало, чтобы поправить прическу. Подняв глаза, она заметила в нескольких рядах от себя молодого человека, который даже не пытался, то ли от простодушия, то ли от неожиданности, скрыть восхищение и смотрел на нее, совершенно забыв о своей спутнице – девушке явно из прогрессивных.

Вера опустила взгляд в ободранный пол. Мало кто позволял себе так беспардонно смотреть на нее, и она не знала, как поступить. К тому же молодой человек пришелся ей по вкусу – немногим старше ее, с нежным умным лицом. В ее спа-

сение начался второй акт. Остаток пьесы Вера не могла сосредоточиться на действии, пытаясь осознать, что чувствует больше – удивление, что привлекла кого-то, польщенность или вопиющее желание подойти к незнакомцу. Плохо помня конец пьесы, она заметила, как пара, не оборачиваясь в ее сторону, покидает партер. Раздосадованности на судьбу, которая упорно не желала наградить ее прекрасным приключением, хватило до самого дома.

Еще несколько дней Вера думала о том случайном обмене взглядами, испытывая легкую неудовлетворенность. Она не была уверена, насколько прилично было бы завязать знакомство, но, привыкнув к вольнолюбивым речам Поли, ждала от своих сверстников большей свободы в действиях. Впрочем, может, Полина хорохорилась и выдавала желаемое за действительное. Скоро Вера забыла о том случае. Так бы и решилось все без последствий, как миллионы подобных бесплодных встреч.

Но Вера имела обыкновение ходить не только в театры. На выставке Малевича 1916 года она, преображенная, плавала от одного полотна к другому, ощущая собственную цельность от того, что приобщается. Стоящая поодаль женщина с благородным и проницательным лицом наблюдала за ней некоторое время. Вера не могла понять, что пытаются передать зрителям эти кричаще размазанные полотна, но искренне пыталась отыскать какие-то тайные смыслы и творческую боль, потому что где-то вычитала о них.

– Неужели вам действительно нравится эта мазня? – обратилась к Вере, наконец, дама, разрушив пленительное Верино молчание, сопутствующее ей с самого выхода из дома.

Вера опешила. Она не могла ответить утвердительно, но что-то же заставило ее не уходить из зала. Может быть, любопытство или наивное желание найти то, чего нет.

– Честно говоря, не очень. Я ее не понимаю.

Дама слабо, но одобрительно улыбнулась.

– Здесь нечего понимать. Не выношу тех, кто ищет в пустоте.

– Поэты только это и делают.

– Они хотя бы делают это изящно.

Вера улыбнулась.

– Если вам так не нравится супрематизм, зачем вы здесь?

– Как и вы, думаю – надеялась, что все будет не так плохо.

Дама двинулась к выходу.

– Кстати сказать, – обронила она, в пол оборота обернувшись к Вере, – если цените настоящую живопись, загляните как-нибудь ко мне, у меня неплохая коллекция.

– Буду рада, – пролепетала польщенная Вера, пока дама доставала из расшитой бисером сумочки карточку.

Ее, неуклюжую Веру, постоянно боящуюся ляпнуть что-то не то, пригласили. Едва ли не впервые не как довесок к матери или Полине. Было от чего прийти в возбуждение.

Матвей, с присвистом съезжающий с лестницы, чтобы встретить гостью и провести ее к царице квартиры Анастасии Федотовой, с изумлением воззрился на вскользнувшую Веру, любезно благодарящую швейцара.

– Добрый день... – обронила Вера сквозь радостную улыбку удивительных совпадений и ощутила странное спокойствие.

Матвей то ли ахнул, то ли подавил смешок и громогласно предложил визитерше проследовать в гостиную.

– Значит, вы любите не только театр?

– Вы запомнили...

– Такое забыть сложно, – ответил он вполне серьезно то ли оттачивая мастерство непревзойденного собеседника, то ли обнажив искренний порыв. – Тетя приятно удивлена вашим видением.

– А я удивлена тем, что столкнулась здесь с вами.

– Я тоже был крайне удивлен историей вашего знакомства – тетушке это вовсе не свойственно, она мастер дистанций.

– Хотите сказать, мне повезло?

– Это уж вам решать, – рассмеялся Матвей.

Вера не узнавала сама себя – в тот вечер она была искрометна, игрива и остроумна, раскланявшись с приветливой семьей Федотовых почти друзьями и заручившись будущи-



ми встречами.

Когда Матвей вернулся к тете, чтобы поскорее отвязаться от нее и убежать в потаенную пульсацию столицы, он со смешанным чувством поймал на себе ее сощуренный взгляд и догадался, к чему он относится.

– Так ты ее пригласила специально?

Анастасия улыбнулась, переведя глаза на плечи племянника.

– Не изменяешь себе.

– Я лишь хочу, – разомкнула уста Анастасия, – чтобы о тебе кто-нибудь позаботился.

– Я сам о ком хочешь позабочусь.

– Это мне известно. И все же здесь подошел бы симбиоз.

В одну сторону играть не слишком интересно.

– Поражаюсь твоему лексикону в домашнем кругу.

– Ежедневная парадность надоедает.

– Короче говоря, тебе не терпится меня женить.

Анастасия повела бровью.

– И ты всерьез думаешь, что можно это сделать так – пригласив домой едва знакомую девушку?

– Не думаю. Но если не пытаться, ничего и не будет. А вы чудно смотрите вместе.

– Снова эта фраза...

– Это много значит!

– Не для меня.

– Я хочу, – Анастасия запнулась. – Хочу... чтобы тебе

больше ничего не угрожало.

Матвей помрачнел.

– И чтобы твоя жена была тебе другом, а не разрушала начатое.

– Я же не нажал на курок тогда.

– Но мог, милый. Все мы слишком тонко слеплены.

– Бедность, болезнь, уныние, печаль, одиночество... Меня всегда поддерживала мысль, что, как бы ни было плохо, если не рушить свою жизнь намеренно, беды сменятся чем-то, пусть даже сменившись смертью.

– «И это пройдет»...

– ... из всего, как бы крамольно это ни звучало, можно извлечь выгоду, даже приспособиться почти ко всему можно...

– Ты прав, дорогой. Но я считаю себя обязанной огородить тебя.

– Спасибо за это.

Вера, залитая весной, ее бесстыдным смывающим остатками тяжелой зимы солнцем, выбегала из библиотеки, одновременно пытаясь придержать распухшую розами шляпу и удержать под мышкой тома новомодных атеистов. Тоненькая блузка облегла ее безупречный корсет, длинная темная юбка путалась в ботинках на небольшом возвышении. А деревья вокруг оборачивались листочками.

– Ах, это вы! – воскликнула она так, словно Михаил Борецкий, потерянно торчащий внизу лестницы, довершил для нее полноту мира, еще более прекрасного от остроты глаз, на него нацеленных.

Михаил поразился свежестью картины перед ним и удивительному совпадению, по которому Вера так вписывалась в этот мягко – ветренный день перед бледными очищающимися приходом теплого времени года зданиями.

– Это просто невыносимо, – Вера без всякого стеснения просунула руку ему под мышку и слегка подтолкнула вперед. – Мне нужно столько прочесть, а я целыми днями смотрю в окно, гуляю и ем пирожные!

Она была в нетерпеливо-лихорадочном настроении весны, обожаемой, все прощающей весны. Жизнь неслась мимо – чистая, покоряющая. Глядя на Веру, невозможно было не увлечься тем же безмятежным наслаждением.

– Разве не этим должна заниматься прелестная молодая девушка? – спросил Михаил, сам оторопев от собственной решительности.

Вопреки его ожиданиям, Вера не взвизгнула от негодования и не облила его презрением. Она не боялась его, испытывая к нему чувства, как к старшему милому брату, немного недотепа, но очаровательному и умному. А, когда она не испытывала неловкость, она раскрывалась – переставала мямлить, путать слова и тщательно выбирать каждую фразу. Поэтому ее напористой, четкой речью и неожиданно точными наблюдениями можно было заслушаться.

Вера сделала невообразимое в его понимании – мягко рассмеялась. Сложно было сказать, что делало ее особенно привлекательной сегодня – весна или нахождение рядом с тонкокостным молодым мужчиной с острым пронизательно-дружелюбным лицом и рассыпчатыми волосами, переплетающимися на затылке. С мужчиной, который явно был к ней расположен и не подавлял ее раскрывшееся, наконец, ощущение себя как чего-то дивного... От которого она не ждала предложения конца, ведь он уже был женат.

– У меня радость! Подруга написала первое письмо после ощутимой разлуки. Устроилась на новом месте, завела полезные знакомства. Говорила я ей, что жизнь, пусть и накрепнется, но идет вперед и сулит свои коврижки.

Так они шли сквозь невесомую зелень над головами, прозрачный весенний воздух и Петроград, вечно юный и акаде-

мичный. Над ними склонялись преломленный зеленый петербургского апреля, пышные и влажные облака, их тающий свет. Нева пронзала город под удушливым ветром как синий эластичный пластилин. Михаил давно забыл вкус таких прогулок вдвоем. Вопреки дружескому тону, с которым к нему обращалась Вера, он с возрастающим восхищением смотрел на ее вытянутую шею, бледные родинки на ней...

Его поразило полнейшее отсутствие в ней кокетства. Не то, что в Татьяне, его жене... То, что одурачило его перед свадьбой, очень скоро выросло в констатацию притворства, которое она продолжала и по ту сторону брака. Этому ее научили тысячелетия патриархата – не говорить ни слова из того, о чем она думала на самом деле и ублажать мужа непрерывной актерской игрой. Может, это и помогало женщинам выживать, но наставало новое время, и, к несчастью, Михаил впитал его в себя безоговорочно. Ему часто давали понять, что легкое лицемерие даже полезно... Но внутренняя честность выталкивая эти соображения. Он сам был поражен, насколько жизнь с разбитыми иллюзиями может быть сносна в повседневности. Иногда с Татьяной было приятно, порой даже весело. Не было ничего однозначного, непреложного и одинакового даже в пределах недели.

– О чем вы так старательно размышляете? – с легким оттенком подтрунивания спросила Вера, закончив распространяться о значении женского труда для страны в военное время.

– О том, что я так еще молод...

– И это вызывает у вас грусть?! Молодость – лучшее, что нам дано. Когда ничего еще всерьез не давит.

– Я понимаю это. Многие ругают молодость за мнимое отсутствие мудрости...

– Отсутствие мудрости в них самих. Люди слишком часто выдают чужие мысли за собственные. И слишком часто переоценивают дурацкий опыт, выросший из того, что они не умели жить. Мудрость – это особенный взгляд, проникающий и учащий видеть, а не только смотреть. Лучшее мы создаем именно в юности – себя, свое восприятие мира. Главное не утратить то, что с таким трудом выстраивалось. Я вообще не хочу стареть. Я боюсь забыть.

– Забыть что?

– То, как я вижу сейчас.

– Видите?..

– Чувствую, воспринимаю... Знаете, когда вы здоровы, а потом вдруг заболеваете простудой... Насколько все кажется отвратительным, даже у кофе не тот вкус.

– Понимаю...

– Ну вот. Я и не хочу болеть. Никогда. Не хочу забывать.

– Ведите дневник.

– Куда же без него. Все равно бумага не передает то, как мы ловим... Как пропускаем жизнь через себя. И как обречены на забывание.

Михаил умолк. Разговоры с Татьяной чаще всего своди-

лись к делам имения и обсуждениям каждодневных событий. Порой с ней было интересно, даже забавно, но он давно уже не очаровывался ей настолько, что забывал, где находится. Он был не их тех, кто способен перетерпеть семейную несовместимость, растворяясь в обилии светских связей. Вера же, непозволительно юная, тащила его куда-то гораздо глубже...

– Вы придете на ужин сегодня? – неожиданно спросила Вера, как будто спускаясь обратно.

– Я... постараюсь, – ответил он не сразу, вглядываясь в ее воздушные глаза.

Поэтизировать женщину и одновременно желать ее... Говорить с ней, да так, чтобы откликалось что-то искреннее и естественное в душе. Это было для Михаила в новинку. Это словно говорило ему, что не все еще кончено для него в вечном человеческом стремлении найти кого-то, чтобы больше не притворяться.

Стерилизованная среда, в которой выросла Вера, алкала настоящую жизнь, знатоком которой казалась Поля. Поэтому Вера обожала вечерами увязаться за сестрой и натолкнуть ее на разговор, больше похожий на монолог, если удалось поймать Полю в урагане знакомств и лекций. Это было не сложно, потому что Полина слишком любила слушать себя. Нужен был лишь молчаливый вниматель, чтобы оправдать это.

Была Вера не так от природы обаятельна, как ее сестра, более проста и... честна в своих манерах (несмотря на то, что нарочитую честность Полина почти сделала своим кредо), но с успехом сделала себя изящной, стройной и жизнерадостной. Хотя никто не говорил Вере, когда та была ребенком, что она толста и угловата. То, что было завоевано ей, она ценила куда больше, чем Полина, которой без усилий досталась миловидность. Вера даже думала, что ей в какой-то мере повезло – будь она девочкой с кукольной внешностью, только ее бы и ценила в себе.

– Мы лишь поколение бездельников, пустоцветов, жирующих за счет других и их же еще и презирающих. Они без нас проживут. Мы без них – ни дня.

Вера внимала этим обличениям с влюбленными глазами.

– Мы же Европу обожаем, даже сейчас с этой анти герман-



ской истерией. Даже те, кто ратует якобы за славянофильство, потому что ежедневно мы пользуемся ее изобретениями и влиянием на умы. А ненавидим мы ее... От оскорбленного достоинства, потому что знаем, насколько ей уступаем. Подарили они нам декабристов, а из-за нашей любви к сильной руке все это трагично кончилось. Вот и пошли кривотолпки, что от либералов один вред. Перед Европой преклоняется вся аристократия, при этом крича о том, как велика наша родина... Мне это претит. Выбрали хоть бы уже что-то одно – либо назвали ее отсталой, либо стали патриотами. Они предпочитают промежуточное – лопоча по – французски, прославлять русского мужика, которого они в глаза не видели, а если и видели, то брезгливо отвели нос. Но в одном эти споры правы – у нас действительно свой путь, – подытожила Полина, погрустнев. – Что мы без этих тряпок, вечного притворства, фальшивых улыбок и старания понравиться?

Ее губы тонули в облаке дыма, который она так старательно нагоняла на себя вместе с королевским, почти неосязаемым высокомерием. Пухлые темные губы и напевные глаза – должно быть, она была сама от себя в полнейшем восторге.

В этот момент дверь отворилась. Отец семейства вошел в библиотеку.

– Не спите еще, пташки.

Вера ответила отцу ширококоротой улыбкой, а Полина молчанием.

– Полина, – обратился он к дочери, словно желая разве-

редить то, что и так было надорвано. – Я слышал, что ты нагубила графине Марьиной.

– Кошелка уже пожаловалась?

Иван Тимофеевич повел головой вниз, будто отмахиваясь.

– Я сотни раз просил тебя проявлять уважение к моим знакомым.

– А я просила тебя не докучать мне своими бреднями.

Вера приоткрыла рот и уставилась на сестру. Иван Тимофеевич буркнул что-то и вышел.

– За что ты так с ним? – спросила Вера с укором.

– Надоели. Все надоели. Лезут ко мне с этими глупостями чуть ли не каждый день. Я дышать хочу, Вера. А здесь не могу.

– Это не повод ни во что не ставить человека, который тебя...

– Что? Вырастил? Вера, прекрати сыпать банальностями.

– Я лучше вообще все прекращу.

Вера направилась к выходу, а Полина, часто задышав, смотрела на нее.

– Его душонка не может переварить того, что мир становится для него менее удобным. Вместо того чтобы приспособиться, осознать необходимость перемен, он ноет и средневековыми мерами пытается оставить все как есть. Да он же спит и видит, когда мы с тобой выполним свое единственное предназначение – разродимся дюжиной писклявых от-

прысков! Невозможно остановить прогресс, можно лишь идти рядом и не мешать ему. Я не понимаю... «Воюй за нас, крестьянин! Но я и не подумаю дать тебе человеческое существование. Потому как ты раб, а я помазанник божий».

– В людях нас поражает то, что мы не хотим в них видеть.

– Пожалуй.

– Но все же...

– Но что? Мне спустить ему это только потому, что он мой отец?

– Люди так и делают.

– Тогда я к ним не отношусь.

– К кому? К людям?

– Ты стала слишком колка.

– Хочешь сказать, начала давать тебе отпор?

Полина удивленно и холодно подняла брови.

– Можешь теперь и от меня отречься, раз родственные связи для тебя ничего не значат. Как только человек перестает быть твоим единомышленником, то исчезает, верно? – продолжала Вера запальчиво.

– Не надо утрировать. Ты себя держишь как многогранную натуру, а других видишь шаблонными.

В представлении Веры люди мало что понимали в этом политическом разногласии и выбирали, к чему примкнуть, скорее, на фоне оболочек, чем зря в корень. Она жаждала познать, хоть на миг приоткрыть великую тайну жизни, нашего пребывания здесь. Тайну, которая так странно была безраз-

лична большинству ее знакомых. Она смеялась с ними, и она же без сожаления с ними расставалась.

– Это случается со всеми девушками нашего времени, которых прогрессивно воспитали.

– Меня не воспитывали так.

– Мать воспитала. Подспудно. Направляя. Это видно. Просто так ничего не берется.

– Почему они никак не поймут, что нови не избежать?

– А с чего ты взяла, что она всем нужна? – вдруг спросила Вера.

Полина недовольно посмотрела на сестру.

– Не может быть иначе, – отчеканила Полина.

– Ты так ругаешь старомодность... Но традиции, школа необходимы для здорового развития общества. Был ли у нас такой балет или литература, если бы не преемственность?

– Стоит отличать преемственность от вырождения. Да и на балете далеко не уедешь, коли ты нищий.

– Ты неисправима.

– В этом мой шарм, – отшутилась Полина.

Полина, дорожающая своей заметной социальной ролью, особенно не углублялась в отношения между людьми и не уделяла достаточно времени кому-то конкретному. Ее друзья были лишь средством выплеснуть себя, говорила каждому она намного больше, чем те хотели или заслуживали слышать. Некоторые не выдерживали интенсивности ее панибратства, но она не винила их.

Поэтому круг ее влияния часто сменялся. И главным приятелем лета девятьсот шестнадцатого года для нее стал Матвей – свежий по сравнению с давними знакомцами, от которых она получала ожидаемые реплики. Встретив ее, сбежавшую из деревни, в сердце Петербурга, он опешил от того, что надеты на ней оказались мужские брюки.

Поля гордо топала по мощеным улицам, таким органичным вплетением продуманной архитектуры, пока на нее в совершенном ужасе смотрели вечно беременные современницы. Ради удобства они уже тогда делали аборты, рискуя жизнью, но сохраняли яростные предрассудки православия.

Обжигающая красота Полины захватила внимание Матвея. Колдовские и печальные глаза, которые словно ощупывали собеседника. Крупный ровный голос с низкими приятными интонациями. Насмешливость, надменность. Легкость и сила. Внешность свою она принимала с барской солидно-

стью.

Полина рвалась ввысь в силу своей необузданности. Несмотря на трезвый и циничный ум она свято верила в возможность лучшей жизни, в трепете и восторге бредя миром света и солнца.

Матвей, этот добряк с пронизательными глазами, бойко шел рядом и внимал ее непринужденным речам.

– Отец предлагает всем и каждому защищать родину... Мне жаль и тех, кто попал под мобилизацию. Наслушался лжи... Кого защищать? Царя, который прав никому не смог дать? Я что, должна защищать ярмо, которое у меня на шее висит? Религию, которая чуть ли не до Нового времени спорила, есть ли у меня душа? А отдельные индивиды спорят до сих пор, – запальчиво говорила Полина твердо и властно, почти утратив свой незабываемый лоск неизменного эстетизма во всем, что бы она не вытворяла.

– Но есть ведь честь... – неуверенно ответил Матвей. – И это не просто слово для потомственных военных.

Полина в удивлении осеклась.

– Но ведь... Не все ведь эти военные. Большинство – просто чьи-то сыновья или отцы. И они хотят домой.

– Подумай, каково человеку остаться без любви к родине. Без опоры. Зачем тогда вообще жить?

– Опора? Страна предательски просит отдать ей свою жизнь. Тут мало агитационных листовок.

– Неужто... неужто русскому человеку легче умереть, чем

расстаться с иллюзией?

– Мы не так рациональны, как хочет от нас новое время и материализм. Слишком много в нас впамяно.

Полина задумалась. В ее взгляде промелькнула какая-то беззащитность.

– В книгах и не прочитав, чем обернутся наши коллективные фантазии, – продолжал Матвей напряженно. – Если бы только был универсальный рецепт. Но в том и загадка быть человеком. Неопределенность завтрашнего... Когда я был маленьким, я считал, что, раз все случилось именно так, то это был единственный вариант развития событий, что так было суждено. Теперь вижу, что так могут считать лишь люди с развитием тумбочки.

– Но ты понимаешь, к чему все идет? – стремительно спросила Поля.

– Если продолжится экономический спад... – без удовольствия ответил Матвей.

Полина оглядела его в замешательстве. Тем не менее, она гордо подняла голову и стала еще выше, когда они проходили мимо памятника Екатерине Второй.

Полина с неудовольствием взирала, как Михаил, не сводя с Веры одобрительных глаз, слегка кивая и улыбаясь, вторит ее неожиданно быстрой болтовне. Полина возмутилась. Она знала Татьяну Борецкую и вовсе не желала смотреть, как к ее Вере липнет какой-то женатый проходимец, один из знакомых семьи. Пусть ищет счастья в другой стороне. Одним делом для нее была взаимная страсть и наплевательское отношение к остолопам, не дающим остальным дышать, а другим – искалеченная жизнь Веры. Она не верила, что ее сестра достаточно сильна, чтобы пройти через и опалу пошатнувшихся социальных связей.

Вера же относилась к Михаилу как к другу, с которым никогда не пересечется определенная грань. У каждой девушки есть такой товарищ. Достаточно приятный, чтобы проводить с ним время, но недостаточно притягательный, чтобы рожать от него детей. Михаил был для Веры слишком изящным, слишком милостивым, слишком женатым. И слишком не Матвеем.

Что делать с последним, она еще не решила, но задумала, пока поблизости не образовалось других мужчин, отвечающих ее вкусу, поиграть в тоску и отверженность. Для Веры в силу молодости жизнь пока не приобрела пугающе реальную окраску. Все было словно понарошку – любовные терзания



из-за дыхателя сестры и заигрывания, пусть и невольные, с чужим мужем. Через дымку свободы и перспектив – никто из родителей не давил на нее из-за замужества. Она свято верила, что не вызывает ни у кого недозволенных мыслей – Вера слишком много общалась с женщинами и не знала, что там, по ту сторону баррикад. В ее понимании сладострастие возникало на дне, в публичных домах и не распространялось на ее круг.

– Это ни к чему не приведет... Она права! – шептал себе Михаил, едва не захлебываясь от духоты. – Не могу, не могу...

Он выскочил на лестничный проем и впился в резные перила. Все было слишком нереально. Проще было исчезнуть, раствориться, чем проходить через безумие объяснений и чужих взглядов... Через вопросы, на которые могло вовсе не последовать ответов. Через Верины встречные упреки... Неодобрение ее семьи, взгляд на него, как на преступника только потому, что он решился.

Матвей, непринужденно шествующий мимо с руками в карманах, в замешательстве уставился на Михаила.

– Вам плохо? – участливо спросил он.

– Ну что вы, – притворно-благополучный тон вернулся к Михаилу. – Соскучился по жене.

– Оно и не мудрено, – одобрил Матвей.

Михаил ответил кривой ухмылкой и выпрямился.

Вскоре Борецкий распрощался и, не глядя на Веру, ушел.

Долго до дома он брел пешком, сам не зная, зачем ему туда возвращаться.

Когда он вернулся, минуя слуг, которых не желал видеть, в гостиной сидела Татьяна. Увидев мужа, она не улыбнулась, но начала что-то тараторить. Михаил слушал, не находя в себе сил даже подняться к себе. Все вдруг стало ему безразлично. Какой толк был, уйдет он сейчас или останется? Все ведь кончено... Жизнь уже не будет прежней.

– Ну вот, а ей и говорю: «Зачем брать сатин, если за шелк переплата такая маленькая?» Представляешь? – Татьяна засмеялась, показывая мелкие зубы, блестящие от слюны.

– Замолчи, бога ради! – повысил голос Михаил и вскочил с места, не в силах смотреть на ее растерянное и вслед за этим негодующее лицо.

Ради этого он потерял Веру, так ее по-настоящему и не приобрел. Наверное, мог бы, почему нет? Чтобы гнить здесь, где ему так скучно и душно. С женщиной, несущей околесицу, от которой у него сводит зубы. Абсурд, мелочность и убийственная необратимость жизни, а главное – его собственное бессилие – доводили до бешенства. Реальность предательски хлестала исчезновением чистой гармонии Веры, ее мягкого взгляда и понимающих реплик. История, древняя как осколки Вавилонской башни, но от этого не становящаяся для него менее болезненной.

Она даже не знала, что этот их вечер станет последним... хотелось унести с собой воспоминания, чтобы затем смако-

вать их, давать им обрести новыми деталями. И испытывая от этого даже странное удовлетворение.

Когда они втроем после шумных гуляний, гудящих от политики и новомодных направлений двадцатого века, досиживали до рассвета в огромной гостиной Ивана Валевского, Матвей понимал, как ему хорошо и странно сидеть рядом с обеими сестрами, такими непохожими и такими одинаковыми. Он жмурился и, находясь в блаженной полудреме человека, не сомкнувшего глаз от приподнятости молодости и лета, наслушавшегося часовых разговоров, в полутьме различал приглушенно-нежные голоса сестер Валевских.

Для Веры сложившаяся ситуация была вдвойне болезненна. Она обоих любила и ненавидела за то, что они отнимали друг друга и себя у нее. Не полюбить Матвея она не могла, иначе вовсе бы осталась за бортом, не имея возможности сидеть с ними, слушать их, справедливо возражать и видеть, что она им нравится тоже.

Привлекательный и уверенный в себе Матвей, отличный от молодых людей, которых Полина водила в их дом доселе, пытаясь разнообразить, как она выражалась, тусклое домашнее общество, неожиданно сплотил сестер и даровал им новые темы для бесед.

Вера на удивление спокойно смотрела, как Полина, ее не спросив и даже не задумавшись, взяла Матвея в оборот. Вера мало общалась с людьми и имела смутное представление,

как те обычно реагируют на подобное. Она с детства существовала в изоляции, часто оставалась одна и была вполне довольна этим, пока Полина утверждала свои права на дворовую ребятню. Это вовсе не мучило Веру, пока не пришло время сблизиться с людьми. Пришлось учиться, как и всему в жизни.

Держа Матвея на расстоянии и отвечая ему односложно на туманные вопросы о них, Полина вместе с тем препятствовала его сближению с Верой. Поле импонировало новое ощущение себя роковой женщиной, которой она по сути не была – для этого ей не хватало двуличия и заикленности на теле.

Вера оказывалась спасительным якорем, когда Поля обдавала холодом. А Вере не нужны были особенные поводы, достаточно было Матвея в опасной близости. Тешила ли она себя надеждами? Какая девушка бы не тешила?

Как-то Поля ушла на митинг и оставила Матвея с Верой без колебаний. И вместо того чтобы расстроиться, тот юморил и явно получал удовольствие от общения с более понимающей, душевной Верой, словно сосредоточившей в своих ладонях вековую мудрость женщин с длинными заплетенными волосами. Древняя мудрость матриархата, наполненное лоно сакральности и чуда новой жизни, которая считается утраченной и которую не признает монотеизм.

Изо рта Поли вырывались бело-серые клубы и, становясь прозрачными, поглощались темнотой. Вера без стеснения полулежала в старом кресле с новой обивкой. Ее приглушенно-рыжие волосы пухом выбивались из тщательной прически.

– Почему ты не можешь угомониться и просто постараться быть счастливой вместо этой оголтелости? – резонно осведомилась Вера после каких-то по обыкновению горячих обличений Полины.

Полина хмыкнула.

– Ты как будто вчера меня узнала.

– Человек имеет склонность забывать, а потом додумывать детали. Это уже не воспоминания, а воображение. Поэтому я хочу услышать это снова. Вдруг я уже достаточно изменилась. Для тебя.

– Почему я не угомонюсь... – Поля степенно выдохнула. – Это ты обладаешь благословенным даром быть счастливой, отстранившись и пребывая в каких-то своих плоскостях. Может, в этом и правда высшая мудрость. Какая-то буддийская. Но я не могу сидеть сложа руки и чувствовать себя бесполезной. Не могу ждать, пока меня возьмет какой-нибудь старик... Я не могу бездействовать, это разъедает меня.

– Ну вот опять! Почему сразу старик? Разве не выходят девушки замуж за любимых?

– И что с того? Даже если любимый... Быть женщиной – бремя, Вера! А это движение... это единственное, где женщина ценна, где она нужна. Где ее по-настоящему уважают. А не тыкают в нее православием, ее якобы грязной сущностью... Хороша грязь – производить новых людей! Это благословение, язычники возвели это в культ, в святость... Для умной женщины в наше время нет другого пути.

– Кто внушил тебе эту ненависть к браку? Почему? Отец не издевался над матерью.

– Не издевался. Но и счастливой она не была.

– Это уже ее личный выбор.

Полина нахмурилась, но не решилась возразить.

– Тебе не кажется, что, несмотря на любую религию, люди просто старались жить во все времена? Они лгали, прелюбодействовали, ябедничали и ленились. Они любили и радовались, объедались. Они просто жили и особенно не задумывались ни о боге, ни о политике... Их вынуждали. Они лишь хотели следовать своим путем и быть счастливыми.

– Наверное... Может, я бы и хотела найти иной путь, но его нет. Сидеть на «Лебедином озере», вздыхать, охать и ждать, пока меня сметут взбесившиеся рабы? Нет, я лучше буду с этими рабами.

– Всей моралью мы еще в прошлом веке, – лениво разразился Матвей, вспрыгивая с дивана и рассеянно ища свой

пиджак. – Консерватизм – это бессилие.

– Консерватизм – это лень, – перебила Вера.

– Bravo, дружище! – Полина выбросила вперед руку театральным, но органичным жестом.

Вера посмотрела на Матвея внимательно и просто. И от чего-то, найдя его взгляд, отвела свой.

– Разве мы действительно кому-то что-то должны? – раздраженно возразила она.

– Вот, пожалуйста, – резюмировала Полина. – Дворяночка. Тебе нравится лениться.

– Мне нравится покой, а не лень.

Матвей благодушно рассмеялся, откидываясь корпусом назад. Вера посмотрела на него с догадкой – он воспринимал их разговор с покровительственно-родительской точки зрения, не упуская шанса подтрунить надо всеми, включая себя.



Матвей Федотов на первый взгляд представлял из себя благожелательного молодого человека с добрейшими глазами и неизменной улыбкой, пусть и слегка насмешливой. Насмешливой не от злости, а от абсурдности происходящего. В доме Валевских он, известный половине Петербурга, отдыхал. И, подобно многим, поражался удивительной красоте обеих сестер, красоте, которая, разделенная пополам, будто дополняла вторую половину. То ли осознанно, то ли не нарочно, облаченные в шелк и кружева, они находили верный баланс между собой. И ни одна не затмевала другую. Темные глаза Полины и зелень вытянуто-круглых глаз Веры. Оттенки бархатистых волос – темень и рыжина.

Веру сначала удивляло негативное отношение к Матвею некоторых их знакомых женщин. Потом она не без помощи колких наблюдений Полины поняла, что окружающие слишком привыкли к обману со сладкой улыбкой на губах, даже если потом наступало похмелье. Вера и не предполагала, что, чтобы добиться их одобрения, надо лицемерить. Больше всего она ценила искренность и поразилась, что для большинства она не нужна вовсе. Ее внутренняя честность требовала встать на сторону Матвея. Впрочем, она изначально и так была на одном берегу с ним.

Сестры Валевские избегали разговоров о том, что было

известно всем – трагедии в семье Матвея. Мать, добровольно ушедшая из жизни вслед за младшим сыном, причины самоубийства которого так и остались невыясненными. Отец после этого уехал в плавание и не вернулся. Подобранный теткой, Матвей умудрился не впасть в сплин. Веру удивляло, что он вел себя словно самый благополучный человек, от души смеялся и ни разу не продемонстрировал зависти или злобы к кому-нибудь. Быть может, здесь сыграла роль природная незлобивость, а, может, и самоконтроль – вопреки всему не сломаться и не начать ненавидеть жизнь. Вера чувствовала и хотела думать, что не ошибается – Матвею необходимо привязаться к кому-то, так же, как и ей, знать, что его ждут. Может, из-за этого он искал новых женщин – чтобы вспомнить, как мало материнской любви получил.

– Для этого и не нужны причины, – сурово ответил Матвей, когда Полина, отбросив свою вечную шумную и пробивную силу, осторожно спросила его о брате. – Он сломался. А сломанным людям только дай повод.

– Но ведь не просто так он сломался.

– Мы все разные. Едва ли мы можем понять друг друга. Что с одного скатится, как вода, подкосит другого. Наитие, случайность, если хочешь. А точнее я и сказать не могу. Не знаю.

– Но ты не озлобился и не стал клясть весь мир в своих проблемах...

– Люди очень часто, имея все, беспрестанно плачутся о

своей горькой судьбе... Я думаю, что сила как раз в том, чтобы, эту горькую судьбу имея, быть благодарным жизни несмотря ни на что. Все она отнять не может. Да и кое-что – будем честными – и от нас зависит, какие бы обстоятельства не были.

Матвей отвлекся от своих обличений и посмотрел на Полину. Странно тихую и задумчивую сейчас, без своего апломба и извечной бравады. Какой разной она была... Живой человек, во взгляде другого превращающийся в произведение искусства. Он протянул ладонь и коснулся ее лица. Полинина кожа покладисто ложилась под его пальцы неосызаемым потоком. Она не отстранилась, хоть и била его криками о женской свободе и предназначении. Красота... что она делает с нами. Но Полина была не только голой красотой. Она манила вглубь.

– Мы не понимаем в детстве, что можно вести и другую жизнь. Что все остальные живут иначе в собственном внутреннем аду. Может, в этом счастье неведения.

Веру, которой Поля передала этот короткий разговор, уязвило, что Матвей поделился не с ней. Но по обыкновению она не показала вида. Она смирилась и даже была рада, что Полине достался хороший кавалер, но не перестала претендовать на роль близкого человека, посланца обоих. Ее не интересовали статусы и приближенность к телу, но невозможность духовного родства глубоко ранили. Впервые она подумала, что дружба не гарантирует той степени близости, кото-

рая может быть в браке. И эта идея не понравилась ей своей тривиальностью.

Полина и Матвей стояли на мосту. Полина задумчиво глядела в Неву, в ее суть.

Матвей, никогда не будучи застенчивым – даже напротив – наблюдал за ней. Легкая небрежность не портила ее – ей некогда было размениваться по пустякам.

– Я хочу на тебе жениться.

Полина перевела на него наполненные улыбкой глаза.

– Матвей, ты мне нравишься, и даже очень. Но брак... это нечто иное. Люди, бросаясь в него, не имеют ни опыта, ни выдержки, чтобы потом чувствовать себя загнанными.

– Я тебе говорю о том, что люблю тебя, а ты мне про какую-то выдержку. Что всегда поражало меня в вас с Верой – вы любите говорить о том, чего не знаете наверняка, просто с чужих слов. И умудряетесь при этом выглядеть мудрецами.

– Разве не все так называемые философы поступают так же? Очередной спор о том, что важнее – голова или опыт.

– И что же?

– Не повредит ни то, ни другое.

– Ты упражняешься в философии, пока...

– Пока ты страдаешь? – с неподражаемой, одной ей свойственной мягкой поддевкой, на которую сложно было обидеться, подытожила Поля. – Не надо. У меня тоже есть сердце.

– Никто и не думает иначе, – сказал Матвей несмотря на то, что все кипело у него внутри.

– Все поначалу оскорбляются на здравомыслие, когда речь заходит о романах и браке. Тут уж не знаешь, что хуже – прослыть идиоткой, в тряпье убежавшей за любимым или охотницей за состоянием... Вечно мы должны перед кем-то оправдываться. Я прагматик и отвечаю тебе, что подумаю.

До Полины хотелось тянуться как до человека, из которого так и брызжет жизнью, да с такой силой, что заражает других этим стремлением жить широко и вдохновенно.

Матвея захватывали ее плавное изящество, легкий ход темно-синих, всегда разных волн Невы. И такой же синий ветер, прохладный даже в теплые дни. И усыпляющая атмосфера замершего лета с его проснувшимся солнцем. Изматывающее противостояние ожидания оттепели и холода, который все не хочет исчезнуть. Обманчивое петербургское солнце, пригревающее, а уже через минуту обдающее презрением. Льющий, бьющий шквальный ветер с Невы через минуту после благоденствия тепла.

Шла Полина, непривычно для себя тихая, серая. Сквозь гудки отдаленных паровозов, по грязи и выбоинам. Шла долгие версты молчания на станцию за письмом, которого не было.

Она возвращалась и вцеплялась пальцами в свои пышные волосы, выпрыскивая пряди, так старательно уложенные горничной. Полина по-прежнему постоянно разъезжала в столицу и обратно, шаталась по публичным лекциям и квартирам приятелей.

Каждый миг в каждом углу Полина ждала. И он действительно появился. Строгий, насмешливый, темно-обаятельный...

Он вышел на аскетичную, по моде и ожиданиям, сцену, стал говорить что-то типичное для тех собраний... для людей, которые подбадривали друг друга за мысли одинаковые и гнали, бушуя, несогласных. При этом он смотрел только на нее одну. Буравил глазами, издевался, орал, соблазнял.

Он был паталогически умен и как никто владел публикой. Полина чувствовала, насколько едина с толпой, и это заливало ее восторгом, благоговением, умиротворенностью и желанием действовать. Бить. Хлестать. Кричать.

После его небольшой речи, предсказуемо взывающей к мировой революции и скорейшему окончанию войны, она

была убеждена, что имеет право подойти. И верно – Игорь словно на нее и был нацелен.

– Какой изысканный сюрприз, – пропел он и пожал ей руку. Но не так, как бросались к ней оголтелые мальчишки, примкнувшие к модному движению – нежно, крепко, оставляя на коже необъяснимое желание трогать еще.

Полина вытянула свою и без того прямую спину.

– Чудная речь, – сказала она уверенно и громко.

Игорь смотрел на нее одобрительно и насмешливо. Полина не могла собраться с мыслями – слишком от него било током чего-то доселе ей неведомого, чему она не могла дать определение.

Игорь наклонился к самому ее уху, что было кстати в окружавшем их балагане.

– Не слишком ли тщательно вы одеваетесь для борца за равенство всех со всеми? – глаза его блеснули недобро.

Полина прищурилась.

– Женщина не станет опускаться до козырьков и грязных волос.

– Одно дело сальные волосы, а другое – буржуазная выходность.

– Не нравится – ищите себе крестьянку в сарафане.

– Едва ли мне будет с ней интересно.

– Это уж точно.

– Какое высокомерие от революционерки! – притворно пораженный, вскричал Игорь.



Полина грациозно повела плечом.

– От фактов не убежать. Сами-то, как я посмотрю, не спешите откликаться на собственные лозунги. Как большинство проповедников, не правда ли? – спросила Поля сахарным голоском, улыбнувшись язвительно и одновременно намеренно вкрадчиво.

– Лозунги?

– С чего бы вам не прийти завтра в обносках, отдающих псиной?

– Маман не учила вас изысканно выражаться?

– Не имею охоты пополнять ряд вышивальщиц у окна.

– Вы не высокого мнения о женщинах.

– Чушь. Я смотрю на поступки, а не на условности.

Игорь удовлетворенно повел бровью. Он почувствовал редкий подъем от схватки с самобытностью. Полина в замешательстве поняла, что не может уловить еще что-то в его глазах. Что-то кроме горячности за сдержанностью. Ей стало одиноко от этого факта.

– Я ухожу на войну, – сказал Матвей с безмятежной улыбкой, как будто поведал о том, что прикупил новый выходной костюм.

Вера почувствовала, как ей жарко, как брызгает внутри сердце.

– Представляешь, меня возьмут военным корреспондентом – какая удача... Все решают связи... Где Полина? – продолжал Матвей, безалаберно не замечая ее состояния.

– На собрании... Не знаю.

– Вечно так. Загляну потом. Может, приду на ужин.

Он встал, ожидая, что она ответит хоть что-то. Но Вера молчала, рассеянно глядя на камин. Ее нижняя губа отошла от верхней.

– Я бы...

– Я провожу, – поспешно и глухо произнесла она, поднявшись и демонстрируя струящуюся серую юбку.

Матвей засмотрелся на ее грациозно изогнутое тело. Когда ему еще доведется прикоснуться к такой красоте? Теперь придется собраться и полностью забыть прошлое, оставив ему маленький кусочек мозга на случай возвращения. Странное дело – готовиться отрезать эмоции, привязанности и подвергать себя опасности ради чего-то эфемерного.

Они молча спустились по не вычурной лестнице, преодо-

левая нескончаемый поток ступеней и вышли в холодеющий от подступов октября сад. Для Матвея это был живописный отрезок земли, занесенный сочащимися золотом деревьями с россыпью просвечивающихся через них лучей. Дорогой отрезок, где он провел столько замечательных минут с обеими сестрами. Вера же чувствовала что-то неотвратимо преследующее ее уже не первый месяц – скребущее ощущение конечности жизни. Конечности той жизни, что знала она. Той жизни, которую она научилась проживать и которая приносила столько радости. Непостижимое чувство удивления от того, что жизнь, еще недавно совсем свежая, невесть откуда взявшееся чудо, может закончиться. И что политика, которая, сказать честно, всегда так мало интересовала ее на фоне остального мира, вдруг начала навязывать ей свои условия и даже покусилась на святое – на людей, которых она любила.

Вера вспоминала себя крошкой, прячущейся в густой глубине этих крон и не могла сопоставить себя ту с собой настоящей. Не могла отделаться от чувства, что, хоть ничего еще не изменилось, той, старой прекрасной жизни уже нет и не будет. Она испарилась, застряла где-то по мере углубления в двадцатый век и в большей мере ее собственного взросления – Вера не могла застопорить себя. Дальше она, может быть, проживет еще три четверти века, но уже иначе, прыская по поверхности. Вера уже бешено скучала по своему прошлому, по людям, которые ушли, развеялись, оставив только бесценное – свой вклад в нее, свой дух в ее воспо-

минаниях. Самое волшебное, чем дано обладать человеку. – Мне кажется... – протянула Вера вдогонку будоражащему, но не сильному ветру, обдумывая эту мысль, – есть люди, которые не умеют любить. Это дар не слишком частый.

– Я вообще считаю, что у некоторых людей даже нет души.

Матвей не чувствовал к Вере ни толики физического влечения. Она была феей, сестрой, подругой, сгустком понимания на уровне жестов и теплоты. Она была красива, и красива безмерно, но как-то по-детски, трогательно. Вера казалась ему совсем отстраненной, жительницей сказок, сказаний, легенд. Ему даже совестно было думать о ней как о любовнице. И безмерно хотелось влиться в эту семью, не расколотую, как его, семью, имеющую историю и круговую поруку друг за друга.

Матвей производил на окружающих смешанное впечатление – весельчак, глубоко понимающий страдания людей; охотник до женской красоты, уважающий сестер Валевских. Добряк, нещадно расправляющийся с врагами. Журналист, без страха обличающих неугодных, не важно, полезны они ему или нет. И при всем этом мудрый молодой человек, невзирая на свой приятный внешний вид, жестоко и нещадно обличающий и несправедливость, и ее вершителей. Юноша, по первому взгляду на которого и нельзя было заключить, что он так интенсивно живет мечтами, которым едва ли суждено сбыться – мечтами переделать мир, добиться влияния на умы. Вера понимала его грани и все больше к

нему привязывалась, совершая то, что необходимо каждому – найти во вселенной живое существо, на которое можно не только обрушить тлеющее в себе неистовое желание выплеснуть, объять, но и получить то же взамен. С последним у нее как раз не ладилось.

Украдкой Вера смотрела на его щеки, очень нежные для мужчины, на легкую небритость, отголоски которой так странно отдавались внутри нее, на эти темно-серые глаза, так похожие на черные, особенно в тени смыкающейся кверху лисья. Вера пыталась вспомнить, когда именно и почему она начала бредить этим человеком и не могла, в очередной раз поймав себя за скребущей, отвратительной в своей необратимостью мысли, что жизнь с каждой минутой ускользает все дальше, что она не может не только заставить ее приостановиться, но и собрать разрозненные кусочки прошлых лиц и событий. Она забывала. Неотвратимо, страшно. Она переставала думать о себе и том, куда движется. Ей было семнадцать лет, а она уже тосковала о прошлом, словно оставалось ей не так много времени на этой земле. Верина легкость уходила с приближением краха эпохи, обременяясь то ли опытом, то ли тем, что она видела кругом. Для грусти вроде бы не было причин. Как и для ее частых улыбок в никуда.

Почему-то пока ей не было особенно больно. Она никогда ярко не воспринимала события, произошедшие совсем недавно. Они интенсивно окрашивались лишь во вторичном восприятии, в перечтении. В последнее время жизнь каза-

лась Вере чем-то вроде сменяющихся картинок синематографа или отвлеченными страницами, выпавшими из разорванного романа. Она не могла сосредоточиться, ей все хотелось лечь и забыться. И вместе с этим бежать, сделать что-нибудь, защитить Матвея. Ощущение бессилия было худшим из всего. Ощущение, что с ней играют, что все происходящее нереально. Проснется она завтра поутру в своей уютной светлой спальне, расплывающейся в запахе засушенных цветов – и все они рядом с ней, мать, еще не хворающая, Полина без своих тревожащих отношений с этим Игорем. И Матвей, пусть не ее, пусть Полинин, зато рядом и в безопасности. Она согласна была не обладать им, но хотя бы часто видеть. И решила ничего не говорить о сомнительном поведении Полины, надеясь, что все образуется.

Осень рассыпалась перед ними. Матвей не спешил ничего говорить и просто шел рядом, глотая холодеющий воздух.

– Ты же вернешься? – задала она вопрос, который казался ей уместным и донельзя необходимым.

Матвей выдохнул воздух, сводящий ему зубы, и нежно посмотрел на Веру.

– Вернусь. Такие, как я, не пропадают.

Вера сделала легкое движение вперед, как будто порываясь что-то сказать, но передумала на начале. Вместо этого она зажмурила свои небесно-зеленые глаза и обняла его. Крепко, так доверчиво и с такой искренней заботой, что даже никогда не унывающий Матвей погрузнел и оставил ла-

дони на спине сестры своей возлюбленной. На него накатила знакомый страх обнять кого-то хрупкого и сделать ему больно. Складки ее платья пережегались, вклинивались в пространство между его рубашкой и пиджаком, пышные волосы щекотали щеки. Матвей заметил, что левый рукав ее платья чуть задран. И этот факт произвел на него странно сильное впечатление – она же просто беззащитная девочка, которая все видит так ярко и окрашивает силой своей души... Он ощутил хлопок и кружева ее светло-серого платья, нежный запах травы от волос. И ему стало так хорошо, как будто он вернулся в теплую уютную усадьбу с матерью, с которой всегда было светло и свободно.

Отщипавшись от него, Вера отвернула наполненные грустью глаза и ушла по осыпающейся оранжевым и золотым аллее к дому. Матвей с новым странным чувством опустошения смотрел на ее тоненькую талию, обхваченную поднимающейся снизу юбкой, на соблазнительные изгибы шеи, прерывающиеся распухшей рыжиной прически цвета ускользнувшего лета. А вслед ей неслись сморщенные увяданием листья и легкий, но бьющий октябрьский ветер, похожий на пробирающую ночную свежесть со своей ущербной, почти устрашающей тишиной.

Вслед за отмерзающими листьями несло странное ощущение какой-то конечности, невозможности начать после расставания. Веру рвало от мысли, что она может больше его не увидеть. Она готова была сделать что угодно, чтобы он не

уходил – гнаться за ним до самого фронта, рыдать и хвататься за его одежду. Впрочем, это было унижительно, и она передумала. Что за нелепая оговорка судьбы? Она не может ни претендовать на него, ни отговаривать – у каждого своя воля.

Вера ни за что не могла взяться после ухода Матвея – все было слишком обычно по сравнению с тем, что они говорили друг другу. И особенно по сравнению с тем, что было невыразимо словами. А лежать на кровати в перевернутом состоянии и мутно смотреть то в потолок, то на собственные ногти, хоть и надоедало, но было как-то весоמו.



Вера непонимающе воззрилась на Игоря, переступившего порог их гостиной. Иван и Мария отправились в деревню успокаивать подкатывающие крестьянские бунты, Вера должна была двинуться вслед. Старшая дочь наотрез отказалась покидать столицу, где бушевала, пусть и голодная уже, бессмысленно военная, но жизнь. И, пользуясь тем, что прислуга боялась ее, привела домой Игоря.

– Помнишь Игоря Михайловича, Вера? – весело спросила старшая сестра, вбегая в комнату и тщетно шаря по дну вазы в поисках давно отнятого войной печенья.

– Помню. Очень приятно, – Вера позволила господину с прищуренными глазами поцеловать себе руку. Сама охотница до веселья, закатывающаяся порой до хрипа, она не почувствовала желания даже улыбнуться.

– Как погода? – тихо спросила Вера.

– Умоляю! – вскричала Полина. – Не будем тратить время на ерундовые разговоры!

Вера вжала голову в плечи. Вернулось подзабытое уже убеждение, что Полина красивее ее, имеет более чистую бархатистую кожу. Она не могла спокойно говорить с сестрой, не будучи уверенной в неотразимости кожи собственной.

– Вчера я видел Аглаю, – сказал Игорь, ни на кого не смотря.

– Что же она? – спросила Поля, дожевывая найденное яблоко.

– Завербовалась.

– Аглая?

– Она.

– Вот это новости... – медленно произнесла Полина.

Вера внимательно смотрела на Игоря. Как обычно при разговорах, которые ее собеседники считали значительными, она терялась и предпочитала делать выводы о говоривших. Как она ни старалась отыскать в госте что-то кроме хорошего сложения и умения себя подать, не находила ничего.

– Вот это я понимаю. Она делает, что хочет. Не чета остальным. Настоящая, лучшая женщина, – обронила Полина, обдумывая что-то.

Она застенчиво погладила свой рот, словно закрывая его. Вере в голову забрела догадка, что все люди стеснительны, даже если выглядят истуканами. Всем в конечном счете присущи одни и те же эмоции, только распределяются они с различной интенсивностью.

– Но женщины и так могут делать, что им хочется в современной России... – неуверенно протянула Вера.

Полина иронически засмеялась.

– Ты такая идеалистка...

– А ты сгущаешь краски.

– Сгущаю? Неужто.

– Да! У тебя вечно все болеют, умирают... И все несчаст-

ны.

– А кто счастлив? Покажи мне этого человека.

– Я, – чванливо произнесла Вера, поймав себя на периодически всплывающем чувстве, что немного играет в собственную сестру.

– Ты счастлива, потому что глупа.

Поджав рот, Вера отвернулась. Да что она знает, эта Полина? Она и не ведает, как Вере бешено хотелось, чтобы сестра любила ее... Как она, Вера, почитала сестру за наполненность ее жизни и испытывала потому горечь от тени жизни собственной!

– Я хотя бы не...

– Что ты не, душа моя?

– ...не привела... при женихе на фронте...

Полина скривила рот.

– Слишком ты стала остра на язык. Да еще при мужчине.

– Сама хотела, чтобы я стала жестче. Ты уж определись – остра я на язык или глупа.

Если Вера цеплялась за чью-то о себе фразу, которая доставляла ей удовольствие, ближайшее время она и вела себя соответствующе. Поэтому она выдохнула и убежденно произнесла:

– Всячески являясь за равноправие полов, я, не кривя душой, могу позволить себе быть мягкой. Потому что мне так хочется, с моей точки зрения это и есть свобода женщины – делать, что хочется. Борьба за права у всех разная, хоть и

цель одна.

– Но женщина не может делать все, что ей хочется, дитя мое. Порой приходится чем-то жертвовать ради собственной безопасности. Где ты можешь получить высшее образование сегодня? Только в женском медицинском, да и там тебя поджидают превратности. Денег же им империя не жалует. Да и к медицине ты не тяготеешь.

– Ты думаешь, я этого не понимаю?

– Она не суфразистка, – с покровительственным презрением констатировала Полина, обращаясь к Игорю. – Отсюда несоответствие.

– На чем, собственно, основан этот выпад? – повысила голос задетая Вера. – Тебе просто необходимо задирать меня! А ты знаешь, что задиры потому и показывают свою вредность, что чувствуют собственную ущербность в чем-то?!

– Угомонись! – повелительно бросила Полина, недобро морщась.

Игорь, сидевший в кресле, удовлетворенно вскочил со словами:

– Ну же, пора идти.

– Уже? – разочарованно протянула Полина. – Зачем ты просился?

– Увидеть мебель.

Его прямолинейные, произносимые с видом абсолютного знания, поражали Полину своим лаконизмом, и она отбрасывала амбивалентность сестры, как что-то безжизненное.

Вера же не могла отделаться от ощущения их наивности и незрелости в скрытой попытке поразить.

Они вышли, попрощавшись. Вера продолжала сидеть на том же месте. Ей отчаянно захотелось рассказать все Матвею. Но Матвей где-то там, в холоде и грязи отрекался от прежней жизни, чтобы никогда уже не вернуться в нее прежним, чтобы донести до людей достоверную информацию о войне... Которую уже ненавидели все. Пока его невеста уходила с другим... Для Веры это был отличный шанс разрушить их помолвку. И она спрашивала себя, кем ей быть в его глазах – гонцом плохих вестей... или обманщицей?

Вера чувствовала, что предпочитает просто жить и любить, не размениваясь на шелуху войн и агитаций. Она не задумывалась о том, что это кому-то не понравится, пока ее собственная сестра, хотя ее никто не спрашивал, решила вытянуть из нее то, о чем она особенно и не думала до этого момента. И в этом были ее сила и упрямство, переплетающиеся с самобичеванием. И в этом была правда Полины – она требовала от людей осведомленности по всем вопросам... которыми владела сама. Вере же люди казались не каменными статуями с установленными шаблонами мыслей и поведения, а неопределенностью. Вечно с Полей было так – она ставила ее в заведомо проигрышную ситуацию. Проигрышную потому, что она была ее, Поли, моложе. Значит – никчемнее.

Вера все очевиднее не желала бросаться в спор, желая убесть от людского безумия. Не дать их грязным сапогам

потоптаться по своей душе. Матвей научил ее общаться с людьми, чего раньше она напрочь не умела. И способствовал раскрытию неосознанной порой жажды вникнуть в человеческую природу, которая прежде утолялась лишь прочтением чужих наблюдений или мнений Марии Валевской.

Вера застыла, всерьез размышляя об Игоре. Прежде те, кто с переменным успехом крутился возле Поли, нравились ей. Он был самоуверен, энигматичен и, пожалуй, даже привлекателен каким-то скрытым... скрытой... опасностью? злостью?.. Вера не могла описать противоречивость своих ощущений – доселе она не сталкивалась с подобным. В его влиянии на людей порой ощущалось что-то мистическое. Он всячески пытался вести себя в рамках общепринятой воспитанности, но холодные глаза выдавали его. Скромный парень с небогатым детством, которого едва ли не в юности усыновил обеспеченный бездетный граф... Темная, нелогичная история. Игорь, возможно, недополучил чего-то и теперь, дорвавшись до влияния, расцвел. Возможно, кому-то он мог показаться скромником (от большого достоинства) и джентльменом... Быть может, Вера лишь в очередной раз уступила собственному миру. Она не хотела поддаваться ощущениям – почти все ее первые впечатления были обманчивы, потому что она жила, скорее, иллюзиями и наблюдениями, молниеносно трансформирующимися в фантазии. Выводы о других были привлекательны, но имели слабое подспорье. В мечтах Вера играла в жизни привлекатель-

ных людей заметную роль или хотя бы добивалась одобрения. А на деле начинала скучать после двадцати минут разговора. Поглощало ее цветаевское одиночество несмотря на обилие людей, с которыми она искренне желала сблизиться, но к которым предъявляла слишком высокие моральные требования.

Вера родилась хилой и стала источником страданий для Полины. Полина в детстве была послушна и воспитана (потому что по-аристократически в совершенстве впитала в себя искусство фальши и извлечения выгод из ситуаций). Но потом она поняла, что гораздо приятнее творить безумства. Ее непоколебимость и потребность отстаивать свои интересы, для которых мать создавала щедрую платформу, взяли верх. Она поняла, что крутить людьми силой своей личности и взрываться, когда что-то не по нраву, эффективнее скромности. Может, она осознавала, что переходила черту, но это доставляло ей невероятное удовольствие. Да никто всерьез и не пытался ее осаждать.

Мать больше любила Веру, не такую своенравную, как она – в этом Полина была убеждена железно и навсегда. Даже если бы она научилась читать мысли и поняла, что намеренно утрирует отношение к ней матери, она не отказалась бы от этого заманчивого заблуждения. Слишком обширный простор для интерпретаций и обид оно отворяло. Отсюда, а так же от убежденности в собственной исключительности, в Полине росло непонимание женщин.

Полине казалось, что своими болезнями Вера крадет внимание взрослых. Поле была неинтересна младенческая Верина несамостоятельность. Маленькая Вера была убеждена,



что Мария больше любит подающую надежды старшую дочь, для которой авторитетом была лишь мать, причем догадки эти исходили именно из речей Поли к младшей сестре. Мария была особенно сосредоточена на способностях Поли. Обе дочери считали, что мать что-то недодала им в пользу другой.

Полина была манипулятором и умело выставляла сестру виноватой во время детских ссор. Вера же сбрасывала с себя цепенеющую застенчивость и выплескивала обиды в истериках, а Полина потешалась над этим. Сначала она не могла давать сестре сдачи и оказывалась виноватой, замыкалась в себе и чувствовала себя преданной. Но потом, учась у Полины, Вера овладела тактикой давать отпор – сложная палитра чувств уживалась в ней без диссонанса.

Полина с удовлетворением захлопывала перед бегущей Верой дверь в свою комнату и не давала общаться со своими приятелями. При этом она с видимой долей раздражения и превосходства заботилась о Вере как о непутевой дурехе, всячески ее поучая. Вера казалась сама себе никчемной на фоне сестры. Но все равно втайне восхищалась Полиной и тосковала без нее. Но Полина и помогала, ничего не требуя взамен. Она искренне заботилась о Верином образовании и, повзрослев, уже пыталась ввести в свой круг, но Вера предпочитала оставаться дома, убежденная, что это сестра по-прежнему не допускает ее до своих знакомых.

В последнее время Полина старательно делала вид (или

чувствовала так на самом деле), что она выше неприязни к младшей сестре. Но личина добропорядочности все больше надоедала ей, особенно на фоне революционного обнажения чувств и мыслей, которые пришлись ей по душе. Да еще и Игорь смеялся над ее попытками сгладить углы. Полине наскучило обуздывать свой неугомонный характер.

К решительности сестры Валевские пришли разными путями – Вера этому училась, преодолевая не самый сильный темперамент и застенчивость напополам со страхом отторжения. Но, имея в самой тесной близости пример Полины, нельзя было оставить все как есть. Верин склад играл и положительную роль – она не теряла голову. Даже из страсти она быстро возвращалась в состояние безопасного безразличия. Для нее слишком опасно было любить без оглядки, да и скрытая склонность к собственному комфорту не позволили бы это.

Вера была добра и лучиста, но абстрактно. Казалось, что даже Поля несмотря на свои методы более добра временами, потому что все знали, что она вполне способна взорваться, но оттого, что ей не все равно. Вера же поражала отстраненностью, попахивающей равнодушием и мало во что верила с первого раза. Врожденная Верина дипломатия не была ли лукавством? При общей искренности.

Несмотря на сильное мужское начало, потому что Мария никогда не препятствовала высказыванию дочерями собственных суждений, обе были истинными женщинами. По-

лина царственностью, манипуляциями, притягательностью, искусно сочетая это со спящим в себе желанием доказать, что она не хуже мужчин, но избегая аутентичности с ними, потому что это казалось ей унижительным. Вера противоречивостью и устойчивой миловидностью.

Какое-то время Матвей и Вера творили чудо – смягчали Полину. Но Матвей улетучился, а Вера впала в сплин из-за его отсутствия. И Полина перестала церемониться окончательно. Из-за Игоря ли, из-за собственной вредности... Полина так и не смогла справиться с ревностью по отношению к младшей сестре. Появление Матвея отчасти скрасило напряженность, потому что Поля в очередной раз доказала всем, что она лучше и ярче, но в последние дни напряжение нарастало вновь.

На Полину легко было обижаться, потому что она не утруждала себя фильтровать то, что могло показаться обидным. Но окружающие странно привыкли к такому обращению.

– Ты так зла на мир, – сказала ей Мария низким голосом, – словно жизнь тебя чем-то обделила. Но оглянись – кого угодно она обделила, но не тебя, избалованная девчонка!

– А мне что, сидеть теперь и терпеть все, раз я с детства ни в чем не нуждалась? Ты о деньгах ведь говоришь – только о проклятых деньгах!

– Были бы они так презираемы тобой, не имей их твой отец?

– Хватит! Ты снова манипулируешь мной!

– Я не могу понять, откуда в тебе это бешенство! Откуда

неудовлетворенность?

– Откуда? – хрипло спросила Полина. – Да от тебя.

– Чушь.

– Чушь?! Посмотри на себя в зеркало, а потом отвечай.

Мария повела бровью.

Полина ясно видела противоречивость матери и не до-  
сматривала свою. Кого-то Мария любила, не рассуждая, ко-  
го-то презирала, отпуская точные ядовитые комментарии.  
Она бывала жесткой с дочерьями, и Полина не забыла этого.

– Ты постоянно ищешь в мире какую-то дисгармонию, –  
понуру продолжала Мария. – Зачем тебе это?

– Ты сделала меня такой.

– Я наоборот учила вас с Верой видеть красоту мира.

– И заодно страдать от него.

– Ты мало что во мне поняла, если до сих пор думаешь  
так.

– Люди проще, чем пытаются казаться сами себе.

– Это неправда. Проще тот, кто так считает. И потом...

Так ли ты сильна, как пытаешься казаться, если винишь в  
своих вполне взрослых уже, осознанных проблемах меня?

– А я что, должна всегда быть непогрешимой? Каменной,  
одинаковой? Не ошибающейся? Это невозможно, если речь  
идет о живом человеке, а не о чьем-то представлении о нем.

– Никто от тебя этого и не ждал бы, не веди ты сама себя  
так...

– Да ничего вы обо мне не знаете! Никто и ничего! Видите

какие-то внешние проявления и думаете, что это цельный человек!

Мария посмотрела на дочь с грустным пониманием. Но ей еще было, что договорить.

– Ты столько жалуешься, негодуешь... Как ни откроешь рот – ах, все ужасно, все переделать! И то ни так и это... Но посмотри – почти всем хуже, чем тебе. Идет война...

– И потому я должна не делать ничего с тем, что мне не нравится?

– Не о том речь, – спокойно сказала Мария. – У любого поступка есть скрытые первопричины. – А каковы твои?

– Может, таковы, что я перфекционистка.

Мария усмехнулась.

– А ты мне, видимо, предлагаешь плюнуть на все и сиднем сидеть, – не унималась Поля.

– Ничего ты не поняла.

Полина почувствовала, что выдохлась – мать ей не удалось поразить и увидеть в ее глазах восхищение, которое так часто наблюдалось у ровесников по отношению к ней.

Матвея, милого, насмешливого хохмача с добрыми глазами, больше не наблюдалось. Того самого, который с Верой был добр, внимателен и оживлен, а с Полей странно тих и одухотворен.

Встретив его на вокзале, Полина увидела взрослого человека с устойчивым взглядом, притягательного своим скепсисом почти ко всему, что раньше вызывало в нем интерес. Он стал как-то тише и озлобленнее. Его бывшая увлекаемость сменилась безмолвием. Нежданное преобразование задело в ней какие-то потаенные мысли, и Полина с интересом наблюдала за новым Матвеем. Не копая глубоко и неверно, строя и открывая то, о чем объект наблюдения и не помышлял, она интуитивно поняла, что ей нравится эта игра.

Матвей на животное-человеческом уровне догадался, что Полине, как неординарной и привыкшей к самостоятельности девушке, нужно от мужчин, чего она тайком ждет. Здесь роль сыграли прозрачные намеки Веры – как тщательно она вычерчивала из писем каждое неосторожное слово!

Уверенный в себе Матвей, ставший грозно-молчаливым, отлично и почти свысока держался в первый вечер отпуска. В тот странный период, когда все были сбиты с толку, все куда-то бежали и не могли найти ни успокоения, ни ответа, Полина писала родным, говорила знакомым, порой их

удивляя, что выходит замуж за Матвея Федотова, знатного и небедного, свободного от родительского гнета, который вопреки воле тетушки ушел на передовую писать об ужасах войны. Вопрос их союза почти решен. Вдоволь шокируя тех, кто знал ее отношение к браку, Поля испытывала удовлетворение. Для нее это было своего рода прикрытие – да, выхожу замуж, оставьте меня в покое с другими кандидатами. А в письмах к самому Матвею она элегантно избегала темы со свадьбой. Желание порвать с родительской опекой не позволяли ей расстаться с ним окончательно.

Играла ли она, эта неискоренимо прагматичная девушка, морщащаяся от любого намека на кокетство? Даже самой стойкой барышне, кричащей о недостойной роли женщин в мировой истории, порой хочется накрасить губы и тожно смотреть на какого-нибудь поклонника. Полина же утром еще не знала, как будет вести себя днем.

Вера молчала под стать сестре и только прятала переливающуюся через край радость от того, что он, наконец, рядом, живой и язвительный, со своими непередаваемыми распахнутыми глазами, в которых засел какой-то упрек. На Веру он смотрел без отличавшей его в тот вечер жесткости. Вера теряла нити мыслей от захватывающего сознания, что она нужна кому-то, что кто-то смотрит на нее с одобрением. Это был для всех троих странный период затишья и заполненности сердца нежностью, терпкой и утверждающей. Нежностью даже не к кому-то конкретному, а ко всем, как у неожиданно



размякшей Поли. То ли на ней отразился прелестный август, манящий своими слегка подсушенными травяными запахами. То ли человек, накрепко засевавший в ее ореоле.

Смерть и уныние витали рядом, но были припорошены романтизмом, вдалбливаемым им многоголосными поэтами. Матвей в течение дня проходил цикл от дифирамбов о том, как все замечательно до полнейшего самоуничтожения.

Матвей не учел одного – долго притворяться по чистоте сердечной он не был в силах. Конечно, время и насилие меняли его, но не коренным образом – извлечь из себя несуществующий посыл непозволительного обращения с женщиной он не мог. Никто из них не умел жить ложью, это было основное, что сплачивало этих троих. Их странные полудетские отношения, служащие отличной иллюстрацией для легкого романа, преломились. Относясь друг к другу с большой нежностью, они сами плохо представляли, насколько друг другу нужны.

В ту побывку они преломлялись друг о друга, но частенько не знали не только то, что чувствовали остальные, но и что чувствовали они сами. Они гуляли до одури, слушая собственную глубокую – потому что вновь впервые познавали других – болтовню, и возвращались домой только для того, чтобы рухнуть в постель. А рано утром начать все заново. Вера накрывало неизмеримо прекрасное ощущение, когда сбегашь из отчего дома навстречу горизонту и чьей-то душе – необходимый атрибут барьера между отрочеством и юностью.

Полина, едкая, колкая, часто раздражала до безумия. Но наступал новый день, она просыпалась в отличном расположении, отпускала домашним комплементы, и все забывалось.

– Ну что, пташка? – весело спросила Полина поутру. – В какие дебри гульнем сегодня?

Она легонько ущипнула Веру за руку выше локтя и рассмеялась. Вера почувствовала, как бывало раньше, как когда на нее смотрели привлекательные юноши, смущение и электрический заряд по телу.

Вера улыбнулась. Неужели Игорь выветрился, и все ее предыдущие страхи за сестру и Матвея померкли? Все будет как прежде – они втроем, опора друг друга.

Вера, влюбленная в обоих, изнывала и от того, что они идут друг к другу с таким скрипом, и от того, что, если они поженятся, она станет лишней. Она даже не могла понять, ценит ли Полина Матвея так, как он заслуживает. Вера всячески поощряла Матвея и просила дать Полине время, хотя не была уверена ни в ней, ни в нем. Ей, в жизни еще ничего не терявшей, было невыносимо признать, что начало утрат положено.

В Полине была несомненная сила и умение повелевать, даже подавлять, и смириться с этим было безопаснее, чем противодействовать, смирение сулило даже особый вид любви. Но Вера, видимо, смирялась недостаточно, смирялась не так. Попытки соперничества и ревности со временем притушилились, ушли вглубь и приобрели более угрожающие, хоть и незримые, формы.

Полина вернулась домой и промелькнула вверх по лестнице, против обыкновения не врываясь, не неся за собой заряд громкости. Заперлась в своей просторной простой комнате и сползла по кровати, не закрывая глаз. Ее рвало изнутри от мысли, что теперь будет.

Поля считала, что Игорь видит в ней высшую женщину – лишенную склонности к сценам от скуки и недостаточного влияния на собственную жизнь.

То, что было прежде, походило на многие другие истории знакомств и сближений. Своими особенными, неповторимыми эмоциями и разговорами, что они вели. Никогда не воспроизводящейся комбинацией слов, взглядов, жестов и ожиданий. Словом, свидания их становились все более частыми и долгими. А вечера все более проникновенными.

В тот вечер Игорь невзначай прошел мимо Полины и легко дотронулся до ее твердой талии, надежно упакованной в корсет. Она и через него почувствовала это уверенное прикосновение, будучи одновременно взволнованной и странно польщенной. Раньше она ощетикивалась от допущения, что кто-то из мужчин осмелится так обращаться с ней. Но у Игоря все получалось слишком непринужденно и категорично.

Игорь с задиристой охотой провоцировал ее и откликался на ее провокации. Внешне они вели себя как подначива-

ющие друг друга друзья, но Полина тонула все неумолимее. Несмотря на свою порывистость и экспрессивность она не была и легко возбудимой, а бушевала, скорее, ради собственной защиты. Впрочем, в отличие от Веры, она не размышляла о каждом человеке и поступке, доводя себя до исступления. Явно заинтересованное поведение Игоря, направленное не на целования ручек, а на конкретный результат, и напугало, и заинтриговало ее. Это было общение двух взрослых людей, которое втайне льстило Полине. Что свободнее она подошла к точке, когда нужно было доказать себе собственную прогрессивность.

Она на локтях полулежала в его квартире. Игорь любовался белоснежной по-петербургски кожей, светящаяся синими жилками, нежная настолько, что это было видно даже в соединении с кружевами платья, в переходах от небольших участков обнаженного тела к воротникам и манжетам.

Полузакрытое песочными шторами окно скрывало от многолюдного, по-военному затаенного Петрограда его жилище. Светлое, разбросанное чистотой и пространством. И тот диван посередине, на котором что-то переломилось в Полине. Она поняла, что есть иная, скрытая сторона жизни, которая способна сильно изменить ее прежние о ней представления. И все же Полина, воспитанная своей гордой осмотрительной матерью, не могла не чувствовать, что Игорь, распалая ее и явно идя дальше обычных поцелуев, возможных разве что между помолвленными, поступает неверно, некра-

сиво. Что она даже не имеет права видаться с ним без компаньонки. Но она гнала эти мысли прочь, резонно замечая, что Игорь не может быть небезупречным, поскольку сам столько раз говорил, что все это лишь условности и каждый безупречен настолько, насколько себя таковым считает.

Пока Игоря обуревали мысли, присущие мужчинам, Полина чувствовала странную свободу. Весеннюю, буйную, зарождающуюся в этом пряном ветре, уносящем прочь от преддверия осени, убийцы чувств. Полина всегда была убеждена, что по-настоящему, не на публику, не для слов, любить могут лишь очень великодушные люди и не верила, что способна на такое. Она никогда не была восторженна, допуская возможность возникновения в ее жизни какого-нибудь романа – союза двух борцов. Но чтобы так наполнено, осмысленно, необходимо... Как бывает лишь в ранней молодости, когда в будущем поджидают только перспективы.

Полина была податлива, мила, трогательна. Она не казалась привычной сама себе и находила в этом удивленное удовольствие. Впрочем, в последнее время еще больший, чем всегда, ураган знакомств застигал для нее все, даже ее собственный голос часто казался потусторонним. Как легко было горланить о свободе и как страшно доказывать ее... Она корила себя за слабость, страшась объяснений, того впечатления, что производила на Игоря своей несговорчивостью. Человека, который так поразил ее неподатливую душу, который разорвал ее поперек, втиснувшись в образовавшееся

пространство. С Игорем все было иначе, ей казалось, что он видит ее. И Полина, впервые столкнувшись с силой, ведь раньше никто всерьез не запрещал ей ничего, опешила. А, опешив, осталась, не решившись отвернуться от заманчивого новшества.

Игорь не видел, как увидел бы поэт или даже Матвей, ее миндалевидных глаз, лезущие в них темные пряди мягких волос... Другим она чудилась молодой королевой, только вступившей на трон. Он же лицезрел то, чем она и являлась – юную девчонку, напуганную вступлением на женскую стезю.

Кто лучше, чем Полина Валевская, знал, что стоит за этими милыми личиками, глядящими с полотен или туманно прорисованными романистами. Вечная тайна жизни, взросления и прохождения пути... вечная тайна женщины, которую она сама только-только начала осознавать, выплывая из небытия векового запрета разговаривать. Полина знала, как много интересного может поведать женщина, научившаяся говорить. И наслаждалась тем, как она чувствует и что с ней происходит, потому что нигде до этого она не встречала тех же напевов и опасений – никто никогда не давал ей понять, что можно ощущать, желать похожее. Что женщина может быть не только влюбленной героиней в платье. Все кругом вечно твердили лишь о замужестве как о единственном, чего она может достичь. Полное отсутствие женской рефлексии кругом тормозило ее собственную. Вечная изоляция, веч-

ный страх и сомнения – так ли у других, верно ли я поступаю и думаю? Поэтессы серебряного века, так зацикленные на себе, не дали ей исчерпывающего ответа, хоть и были прорывом, спасением. Надеждой.

Бессловесный и бессовестный идеал, играющий с чужими душами, потому что не имеет своей – вот какой видели женщину в эпоху, когда она не имела права и ресурсов на самосознание.

Теперь Полине предстояло сделать выбор сродни Софье Перовской – пойти против семьи... Она, горластая в теории, ловила себя на страхе и неуверенности. Догмы, вдалбливаемые ей ее средой, было не так легко переступить, как об этом говорила Александра Коллонтай. Но Полина чувствовала, что перестанет уважать себя, если буржуазно-православное влияние, растаптывающее женские желания и робкие святыни, победит в этом периоде ее жизни.



Под досаждающий лет мелких мошек в Летнем саду Матвей сочувственно сказал:

– Сознание человека... Быть может, неопределенно. Неизмеримо. Его нельзя поймать. Так чего ты хочешь?

– Узнать себя.

– Зачем?

– Как это зачем?! Что же, жить, не зная себя? По инерции, в болоте...

– Мне кажется, жизнью просто надо наслаждаться. И быть благодарным. А ты все роешь, роешь... Никогда ведь не дороешь до конца, его не существует.

– Ну а что, мне теперь сесть и сидеть? Не развиваться, не двигаться? Разве жизнь не является движением?

– Жизнь является чувствами.

– Это тебе так кажется, – возразила Вера, хотя была согласна с ним.

– Что мне кажется, то и есть правда. Для меня. Ты снова запуталась, Вера.

– Всем порой хочется маме под бок. Но смысл лишь в движении, познании. Мы здесь для этого. Познание чувств, людей, законов... Важно все ирреальное. А реальный мир – это катакомба, которая отвлекает нас от цели.

Вера часто задышала, ей не хватало воздуха. Почему слу-

чается так, что человек, которого так хочется трогать, может быть совсем рядом и в такой недоступности?

– Как... как ты жил... без нас, там?

– Пена человеческого безумия на этой войне, и только, – с усилием отозвался Матвей.

– Тогда зачем тебе возвращаться туда?

– Зачем? Я мужчина, Вера. Это не гимназия, которую можно бросить.

– Солидарность? – свела брови Вера.

– Пожалуй...

Мысли, зарожденные здесь, на берегах Невы. Искусственность городской жизни на фоне неувядающих запахов деревни, где сейчас скалились и филонили мужики, так же исподлобья на чистеньких барышень косились замученные замужней жизнью бабы. И так же цвела земля. Откинешь голову – а над ней нависают, клубясь и пенясь, дымно-розовые облака и кроны деревьев. Не зеленых, нет, зелено-коричневых.

Они заражались страстью как вирусом. Пили жизнь, мчались в немислимом темпе танго и были счастливы так, как могут только ослепительно молодые люди, не обремененные бедностью или болезнью. Как может быть счастливо переломное поколение, мнящее себя новой ветвью эволюции общества. Видящие вспоротую жизнь цельной и утоляющей несмотря на окружающие препятствия к достойному существованию. Вера чувствовала это каждый день, особенно когда светило солнце, а она бежала куда-то прогуляться или послушать лекцию в цветущем идеями Петрограде. Она надеялась, что то же чувствует Матвей. Так было бы проще взаимодействовать с ним. Впрочем, она часто наделяла его своими мыслями, хотя и оголтело искала в нем новизны для себя.

В скромном солнце город просыпался, пользуясь короткой передышкой без классицизма зимы. Петроград обрас-

тал житейскими деталями – приоткрытыми воздухом окнами и бельем, которое сушилось на распластанных по дворам веревках.

Веру часто мучила мысль о непостижимости жизни и ее проявлений, о том, как неверно все отражаются во всех. Как в моменты усталости или просто наития от присутствия кого-то она говорит вовсе не то, что чувствует. Да и чувствует уже как-то извращенно, словно и не она это вовсе. Словно ее и нет, когда она проецирует себя на других. Веру мучила невозможность, находясь с людьми, отвлечься от них и понять, что чувствует и думает на самом деле, а не в комнате, запыленной энергетикой посторонних. Ее голова, засоренная злословием и слепотой остальных, наконец оказываясь в свежести одиночества, по инерции не в силах была соображать. И Вера боялась. С детства ее преследовал кошмар бесчувствия, а бесконечная русская зима лишь провоцировала вечную апатию и вечную флегматичность.

Особая боль вечного цикла времен года с ужасающей осенью. Особая окрашенность чувств конечностью, быстротечностью жизни в каждом миге по мере взросления. Лишь воспоминания окрашиваются в золотой отблеск чувственности, да редкие приливы счастья напоминают, зачем существовать.

И сквозь все это на страну наваливался голод. И даже богачи вроде Валевских начали осознавать, что Россия, такая богатая, не может выдержать столько ошибок разом.

Большая часть мужчин опасалась ее – мало кто мог потягаться с Полиной в умении дать отпор. Она словно вызывала на поединок или, в крайнем случае, провоцировала, но никак не говорила, томно сжимая невинные, но порочные самой своей сутью губы, о своей незащитности. Да и красота ее отливала сталью. Женственной, выпячивая губки и декольте, она быть не умела, даже когда мать принуждала ее облачаться во что-то неземное. Это казалось Полине оскорбительным.

Мужчины, не признаваясь сами себе, боялись оказаться в ее тени. И, восхищаясь ей со стороны, женились на девушках более земных, более привычных и предсказуемых.

Матвеем она надеялась мягко командовать. Какое-то время ей это даже удавалось, пока он верил, что Поля делает это из каприза. Он был сторонним наблюдателем в быту и львом за его пределами.

А Игорь почти сразу дал понять Полине, что с ним у нее не получится быть той снисходительно-равной со смещением в сторону главенства. Полина тяжело переживала раскол власти в их паре и то, что Игорь не пожелал, как Матвей, спокойно отдать инициативу ей. Похоже, он даже с удовольствием боролся за отстаивание своих интересов, подспудно намекая на повсеместный патриархат. Когда в очередной раз она

оказалась в его квартире, вместо жарких объятий и желанного для Игоря продолжения она прочитала ему отповедь, что она – ровня и заставлять ее он не может.

Она вдруг почувствовала себя задетой, несчастной. Ей захотелось плакать, раскинувшись на полу, пока кто-то будет бегать вокруг нее с утешениями. Но Игорь был не из тех, кто способен просто обхватить ладонями женскую голову и прижать ее к себе.

В тот же вечер Игорь явился в ресторан с Верой, которую уверил, что Полина ждет их внутри.

Вера нутром чувствовала в нем что-то ненатуральное. Что-то визжал оркестр, грохал калейдоскопом света и мелькающих нарядов танцовщиц, а у Веры разболелась голова. Обходительность Игоря нисколько не действовала на нее.

Игорь молча наблюдал за неуловимым очарованием Веры. Вот оно было – и уже растворилось, и даже ее взор ушел куда-то вглубь, оставив на поверхности лишь цветные радужки глаз.

– Вы менее яркая, чем сестра, но все же красавица. Выйдя из ее тени, вы расцветаете невиданно.

Вера посмотрела на него с негативным недоумением, которое обычно вызывает явная бестактность собеседника.

– Мне наскучило сравнение меня с сестрой. Мы не близнецы и не один человек.

Игорь прекрасно знал о непростых отношениях между сестрами – странной смеси ревности, обожания и отрешенности. Они смотрели друг в друга как в зеркала и видели что-то потустороннее. Они смотрели друг в друга как в прямую свою противоположность, а видели родственность.

– Вы испытываете скуку, потому что что избалованы.

– Меня удивляет ваша манера объясняться. Впрочем, ви-

димом, именно на такой эффект вы и рассчитываете.

Про себя Вера подумала, что он не только ждет подобного эффекта, но и пытается задавить собеседника наглостью и скрытой агрессией. Но она, то ли взрослея, то ли невольно подражая непробиваемости Полины, отлично играла невозмутимость.

– Кто еще скажет вам правду?

– Какую? Исковерканную вашим самомнением?

– Словом, – продолжал Игорь самоуверенно, не обращая внимание на отпор Веры, – я предлагаю вам стать моей женой.

Размер глаз Веры, когда она повернулась к нему, удивил даже Игоря.

– Что вы несете? – грубо бросила она.

– Рекомендую вам соглашаться. Поклонников – то у вас, видно, не кишмя, – Игорь небрежно отхлебнул вино из хрустального бокала, который держал с подчеркнутой небрежностью.

Вера рассмеялась от абсурдности слышимого. Голос ее стал злым и жестким.

– Рекомендую вам пойти к дьяволу.

Пока Игорь зубоскалил (как показалось Вере, отвратительно), она думала, что, стоит им с Полиной помириться, и он выбросит ее без всякого сожаления.

– Вот за что я люблю девушек вашей семьи.

Вера почувствовала ярость и потребность ответить.



– К сожалению, я вас никак не люблю. И не вижу, что нашла в вас Полина.

– Думаю, ее ваше мнение не интересует.

– Мне это безразлично.

– Не верю.

– И это мне безразлично тоже.

– Вы всегда будете девочкой, которая считает сестру выше себя. Едва ли кто-то кроме меня это понимает.

– Вы преувеличиваете свои достижения в проницательности. Всевозможные выводы о внутреннем мире другого достойны высмеивания. Потому что даже когда вы угадываете, то лишь малую часть.

Вопреки ожиданиям Веры, Игорь не был обескуражен ее мудростью.

– Вы придумали себе эту любовь. К ее жениху. Хитро все сплелось, не так ли?

Веру передернуло. Как он посмел коснуться Матвея, тыловая крыса?! Откуда он узнал?.. Полина... Полина сказала? Но переубеждения или оскорбления только позабавили бы Игоря – он умел черпать в них силу.

– Вы придумали себе то, что сейчас говорите.

Ей, наконец, удалось заставить Игоря опешить – он прищурился, раскрыл рот и не выдавил из себя ни звука.

– Что? Нет слов?

– Удивительных девушек воспитала ваша мать...

Выйдя на улицу, Вера поняла, что только что наедине си-

дела с женщиной за столиком без компаньонки у всех на глазах. Но неужели в империи, разрываемой очередной победоносной войной, голодом и оборванными телефонными линиями, еще есть дело до этого?

Поля удивлялась, что одобрение Игоря получить непросто... Что его вообще надо получать. Прежде так много людей восхищались ей просто так.

Игорь напряженно стоял и смотрел на нее, прижавшуюся к стене. На морщину между бровями, взгляд, уставший и все же готовый бороться. Он раздумывал, получится ли у него сейчас подойти к ней. И медленно сдвинулся с места. Полина напряглась, но молчала.

Полину охватило отчаяние. Она поняла, что больше сопротивляться не может. Что ходом с Верой Игорь надломил стену, которую она из последних сил достраивала. Жизнь, которую она прежде планировала и разрисовывала сама, внезапно оказалась не в ее власти. Поля испытывала небывалый прежде объем эмоций, которые опутывали ее, лишали разума, все окрашивали своей особой кружевной пеленой, но были ей неподвластны.

Игорь сделал уверенный шаг навстречу, Полина попятилась и, увидев, что Игорь движется к ней, побежала к двери, длинной юбкой зацепившись за тахту. Игорь порывисто приблизился к ней и прижал к стене.

– Не надо, – прошептала она хрипло.

Игорь в ответ рассмеялся, рассматривая ее беззастенчиво и повелительно. Его гибкое тело с ровной мягкой кожей

успокоило ее и взбудоражило, но уже по-иному.

Вместе с отчаянием пришли странное облегчение и жар, который так долго топился и тлел внутри нее. Который она не могла выплеснуть, да и не знала, как. Теперь, когда так близко от себя Поля чувствовала прерывистые поцелуи и бесстыдные руки, уверенно стягивающие с нее блузку, все встало на свои места.

Уступить хотелось сладкими позывами. Раньше Полина недоумевала, как можно стать чьей-то любовницей. Но взросление оказалось сложнее, чем она предполагала. Напускная серьезность и суровость суждений отрочества в подражание взрослым рассеивались.

Девочки Валевские плохо представляли, что такое эротическая любовь. Они видели столько натянутости в отношениях родителей, что не понимали, как это вяжется с романами, которые они читали.

И пошли эти безумные дни и вечера, когда она, рассеянно пропуская смысл бесед за трапезами (ни Вера, ни она так и не поехали к родителям) бежала к нему в квартиру. Сквозь Петербург ее юности, клокочущий ожиданием глобальных перемен и неохотно, но неотвратимо переходящий к сметающему прогрессу нового века. Встречи тайные и вырванные, а оттого тройне сладостные. Встречи бунинские. Встречи, перемешанные с буйным и нежным цветом прозрачных деревьев за окном и архитектурой, идеально переплетающейся с низкорослой северной природой. Дополняющей ее и при-

ходящей на выручку, когда природа эта умирает в преддверии вечной петербургской зимы.

Игорь облизывал ее пальцы и подшучивал над ее невинностью на фоне черных петербургских дней за отступившими белыми ночами.

Занеся своим вихрем в холл запах влажной листвы, Полина, улыбаясь и храня на себе поцелуи первой любви, наткнулась на леденящее лицо вернувшегося в столицу отца, который хрипло-разъяренным тоном приказал ей следовать в библиотеку.

– Как у тебя только совести хватило?! – прогремел Иван Тимофеевич, пока Мария Павловна, сидя в кресле в тени, хранила молчание.

Мария всегда была недосыгаема для бытовых встрясок, а отец воспринимался каким-то пластилиновым, хотя в детстве вызывал у Полины восторг своей щедростью и незлобивостью по сравнению с матерью, которая не упускала возможности указать ей на промахи.

Полина продолжала стоять, испепеляюще глядя на обоих. Опоганили, опошлили то прекрасное, что она обрела. Разве они понимали, в каком вихре запахов, прикосновений и света она теперь жила?! Многое обесценилось совершенно, а другое, напротив, приобрело удивительный смысл.

– Что ты молчишь? Совсем ни о нас, ни о сестре не думаешь! Хорош двадцатый век, раз незамужние девушки считают себя в праве вытворять такое!

– Не обязательно молодежь прогнила. Возможно, причина в вас.

– Причина?! Причина в нас?!

– Да, в вас! – заорала Полина, едва сдерживая слезы стыда и обиды. – Нам претит ваша безынициативность, нытье! Вы ничего не можете сделать на благо! И вы хотите, чтобы мы вам были подпоркой?! Вы гниете заживо и нас пытаетесь утащить за собой!

– Да как ты смеешь, дрянь! – завопил Иван Тимофеевич.

– Я не хочу больше отвешивать реверансы каждому вшивому генералишке, сделавшему состояние на пьянстве и связях, не хочу носить неудобные платья и зависеть от других! Я люблю! Ты вообще знаешь, что это такое – любить?!

– Любишь?! А последствия?! Или из-за твоей любви вся семья должна кануть в безыизвестность?!

– Сейчас не те времена, отец. Не о том ты думаешь.

Не дожидаясь, пока ее отпустят, Полина бросилась из комнаты. Иван Тимофеевич через некоторое время понуро повернулся к жене.

– Почему ты молчишь?

– А что ты хочешь от меня услышать?

– Что?! Чтобы... чтобы ты меня поддержала! Наша девочка...

– Но это было бы с моей стороны лицемерием. Дочь пошла по стопам матери, только и всего. С одной только разницей – она влюблена. В этом нет греха.

– Нет?.. Но что же нам делать теперь?

– Известно, что делают в таких случаях.

– Увезти ее?

– Только если он откажется жениться.

– Надо было раньше думать о женитьбе. Прежде чем соблазнять нашу дочь, – проворчал Иван Тимофеевич, странно утихомиренный спокойствием жены.



Вечером младшая сестра проникла в комнату к старшей.

– Что ты за меня цепляешься? – заорала Полина, еще не успев ничего выслушать. – Я тебя всю жизнь пытаюсь контролировать и предостерегать, поучаю, вмешиваюсь в твои отношения!

Она была прекрасна с распущенными блестящими волосами, злоязычная, с воспаленным взглядом... Вера засмотрелась на нее.

– Какие еще отношения?

– Михаила к тебе.

Вера застыла, поведя головой.

Полина воодушевилась произведенной сенсацией. Это было как раз по ней.

– Не из добрых побуждений, а, чтобы не чувствовать собственное бессилие перед наполненными любовью людьми, – отчеканила Полина. – Я ее так дарить окружающим не могла тогда...

Вера сузила глаза.

– Он потому пропал?

– Да. Я поговорила с ним.

Вера пожевала губу.

– Если удалось что-то разбить, значит, не очень оно было крепкое. Мужчины любят собственную нерешительность

оправдывать женским коварством.

Полина едко рассмеялась.

– Ты не уйдешь. Для тебя же семья – не пустой звук. Каждый вечер, история наших предков! Кем бы мы были без нее? Кем бы мы были и друг без друга?

Полина в изумлении смотрела на сестру, забыв даже убрать босые ступни под покрывало.

– Вера, прекрати умамливать меня. Все решено.

Полинино «решено» действительно значило что-то, в отличие от вечных людских разглагольствований о планах и свершениях. Но голос Веры зазвучал напористо.

Вера в исступлении сбывшихся лишь в мыслях разговоров продолжала:

– Как бы ты не культивировала различия между нами, мы одной крови. Мы – единое целое с общими воспоминаниями, как бы тебе ни хотелось от этого отгородиться. Мы – общий зачин, а это всего важнее! Мы обе строго оберегаем то, во что верим и кого любим. А я тебя люблю. И никакая война это не перечеркнет! И я тебя оберегать буду, а не этот Игорь. Раз он так исподтишка действует, то он просто подлец.

Иван Тимофеевич не успел ничего предпринять – через два молчаливых дня Петербург был парализован хлебными бунтами.

Ожидаемое, неожиданное обрушение неценимого благоденствия отполированных витрин.

И Полина с Верой скандировали в этом священном безумии растрепанных женщин с голодными детьми дома.

Насколько шаткими и игрушечными оказались достижения прошлых лет, если могли быть сметены в какой-то надорванный миг. Столько лет поколениями собирали по крупицам эту эфемерную уверенность в грядущем дне... Люди, а в основном женщины, сбитые с колеи, воодушевленные невесть чем, подталкиваемые неведомой стихией торжества интеллекта и силы, вместе со всеми орали на площадях февральского Петрограда, терзаемого глупостью правителей и войной, бедностью и яростной надеждой на могучий двадцатый век. Ведь не могло, не могло и в новом веке творится подобное... Однако, оно творилось.

Вера, заслоняясь тетрадками из последнего, седьмого курса гимназии, где перестали ко всеобщему удовольствию преподавать слово божие, сквозь толпы прорывалась в тишь дома, а душа ее замирала от грусти и подъема. И эта новь свободы пьянила. Пугали, потому что она не хотела так же

ютиться в грязных рабочих кварталах, в бессмысленно упорстве думая только о пропитании.

– Столько людей, – зачарованно шептала Вера, заскочив домой. – Борются за счастье страны...

– Вера, – вздохнула в ответ Мария, – при чем здесь страна? Просто мужланы нашли удобный выход агрессии, раз больше нет угрозы каторги.

Вера неодобрительно покосилась на мать.

– Люди борются за свободу, – произносила вера, глядя в окно.

– Меня пугают лютые лица с оголенной шеей, с которой сброшен хомут, – скривилась Мария и принялась кашлять.

– Это тебя пугает? Или ты не хочешь так же жить в грязных рабочих кварталах?

– А ты где о них прочитала? – вскинула бровь Мария.

Вера с досадой отвернулась к окну. Конечно, мать права, а они могут только разглагольствовать... шевельнулось привычное чувство вины за собственное благополучие. С тревогой и отрадным чувством свершения она посмотрела на толпы внизу. И душа ее рванулась к ним. По большому счету, какая разница, чего они требовали? Она была молода и чувственна, она хотела жить.

– Они доведены до отчаяния, – голос Веры стал глуше и четче.

– Чем? – вяло спросила Мария.

Вера посмотрела на мать вытаращенными глазами.

Утром двадцать восьмого февраля за столом Валевских не обсуждалась политика.

– Если вы не даёте мне жить, как я хочу, я просто уйду, – с нарочитым спокойствием озвучила Полина за завтраком.

Вера не подняла склоненной над тарелкой головы. Мария скребла ногтями по костяному фарфору.

– Мне уже опротивели твои выходы, – холодно отчеканил Иван Тимофеевич. – Никуда ты не уйдешь.

– Посмотрим, – ответила Полина с усмешкой.

– Перестань, – подала голос Мария. – У тебя еще сестра.

– И что? – спросила Полина, подавляя осевшее в горле фырканье. – Ее никто замуж не возьмет?

– У тебя все прекрасно получается в теории, но на практике почему-то рассыпается. Потому что жизнь не так утрирована, как ты ее подаешь.

– Я...

– Ты не можешь понять, – рассвирепел Иван Тимофеевич, – что из-за твоего упрямства ты потопишь всех нас, а Веру придется отдавать за разночинца!

– Меня никому отдавать не надо, – подала голос Вера. – Я получу образование теперь. Благодаря...

– Вот видите?! Что она, тупица или уродина? Ничуть! Пусть найдет себе сама какого-нибудь Горького! Она не бу-

дет счастлива с олухом, которого будет интересоваться, что направила ее сестра!

Вера молчала. Перспектива окунуться в невыносимую, интереснейшую жизнь Горького взбудоражила ее.

– Я не желаю больше этого слушать. Или ты срочно выходишь замуж за этого твоего... – он поморщился. – Или мы увозим тебя в Италию.

– Как бы не так.

– Разговор окончен.

– Вы не понимаете что ли, что вашего паршивого мира уже нет? Его нет, он стерт, – Полина не удержалась от злорадной ухмылки. – Вот за что мы боролись – чтобы девиц не увозила в Италию взбесившаяся родня. Свой неуклюжий консерватизм можете оставить себе как сувенир. В остальном он бесполезен.

– Кто научил тебя таким словам?!

– А почему ты на них так реагируешь? Правда глаза колет?

Поля в детстве часто дерзила взрослым. Что побуждало ее к этому, никто сказать не мог. Иван Тимофеевич не мог предположить, что утонченное воспитание не сотрет эти огрехи взросления. Должно быть, здесь повинно попустительство Марии.

Отчаянная, своенравная, жадная до жизни, злоязычная дочь... И ее любили, хотя она сама не всегда любила себя. Она не лгала и не пакостила по мелкому, чтобы ей было лучше. Она носилась по комнатам и улицам, заражая других.

Наблюдая за необъяснимой порой вредностью сестры, Вера приходила к выводу, что Поля не может примириться с чем-то в себе или окружающем, вместо того чтобы учиться испытывать удовлетворение от жизни.

Вера зло посмотрела на Полину. Бессовестная! Вере порой невыносима была мысль, что сестре само все плывет в руки. Почему до сих пор к ней все относились лояльно? И в этот раз она наверняка отделается лишь перебранкой, а вернувшийся Матвей все ей простит.

Полина перехватила взгляд сестры и сощурилась.

– Я не плохой человек. Просто у меня такой характер, – ответила она на Верин взгляд с удивительной улыбкой злорады и непонимания, граничащего с презрением.

– Люди часто оправдывают характером то, что не хотят в себе менять, – спокойно отозвалась Вера, чем окончательно вывела сестру из равновесия. И осталась чертовски довольна собой.

Лицо Веры выражало непривычную сосредоточенную серьезность, которую так часто демонстрировала ее мать, только с большей... озлобленностью, даже демонстрацией опасности. Вера с детства помнила этот настороженный темный взгляд, прожигающий кожу. Взгляд изучающий, почти враждебно внимательный. Мария всегда была грустной, всегда, даже когда шутила и смеялась. Порой Вере хотелось заорать, лишь бы мать стряхнула с себя этот сумрак, который она так добросовестно на себя намотала. Не потому, что ее сломала

или обделила жизнь. Ее жизнь была такой из-за нее.

Несмотря ни на какие притирания между ними Полина была для Веры неприкосновенной героиней. До последних событий она не верила в ее темные стороны. Полина все отдавала каким-то смыслом, привлекательностью. Потому Веру и саднило сильнее обычного. Увидев, что ящик Пандоры раскрыт, она уже не пыталась сдерживаться.

– Почему ты такая? Что тебя гнетет? Что в тебе сломлено? – прошептала Вера.

Полина приоткрыла рот, но так и не ответила. В ее глазах домашние приметили растерянность.

В тот же вечер в темном кабинете хозяина дома Мария своим грудным однотонным голосом отвечала мужу на его негодование о том, что они слишком распустили старшую дочь:

– Учти, что я не брошу своего ребенка и не буду заставлять ее делать то, что она не хочет. Я прожила слишком неприметную жизнь, постоянно себя хороня, чтобы еще заставлять дочерей следовать за мной.

– Но... Ты что, позволишь ей уйти?!

– Если она будет чувствовать одобрение, то никуда не уйдет.

– Одобрение?!

– Оставь свои дворянские замашки. О моем прошлом ты знал, однако же...

– Тебя я любил.



– А дочь не любишь? Нелюбимой она стала, когда начала задавать тебе неудобные вопросы и противоречить?

– Что ты говоришь... Нет, Маша, я долго терпел и тебя и ее, на этот раз все будет по-моему.

– Прости, но тогда я стану на ее сторону.

– Как угодно.

Мария неслышно вышла. Иван Тимофеевич со вздохом закрыл лицо толстеющими пальцами. Ему вовсе не хотелось рушить семью, что-то выяснять, кого-то наказывать... Разрушений и боли на улицах и фронтах России и так было достаточно. Но полнейшее безволие жены и отрешенность Веры невольно вели его к открытому конфликту с Полиной, которая непонятно по какой причине старалась ему досадить. Может, она пыталась через него отомстить тем, прошлым мужчинам матери, о которых догадывалась?.. Или винила его в том, что он не может сдержать ее. Но как он мог ее сдержать, зачем она требовала этого от него?..

Мария Валевская вообще была не склонна к отношениям. Но обстоятельства когда-то вынуждали ее быть неуловимой и роковой. Несколько последних лет она была как будто во-все несуществующей. Она много играла на пианино, читала и часто вечером отправлялась гулять по саду или Петербургу. Она лишь преобразовывала свою природную угрюмость, делая ее загадочной и привлекательной. Мятежный дух Марии обрубился событиями и несвободой. Она мужчин не любила и не хотела, а они почему-то так и летели к ней.

Так же мало она тяготела к объяснениям. Поэтому, начав утро с омовения и вместо завтрака внизу под надзором семьи подойдя к роялю, она не ожидала, что старшая дочь, проникшая в комнату, не сводит с нее глаз с непонятным противным блеском.

– В чем дело? – спокойно спросила Мария, предугадывая неприятное объяснение и чувствуя, как кровь отравляется чем-то мерзким.

– Мама... Я давно хотела поговорить с тобой об этом, да все не хватало смелости.

– Тебе и не хватало смелости? – усмехнулась Мария.

– Ведь отец мне не родной? – выдохнув, спросила Поля напрямик.

Мария хмыкнула.

– Кто же внушил тебе это?

– Были люди.

– Эти из новых анархистов?

Полина ничего не ответила.

– Веру ты берегла, а о тебе я знаю всю подноготную.

– Вера знает.

– Знает?!

– Да.

– Почему ты ей сказала, а мне нет?!

– Чтобы эта сцена состоялась раньше?

– Ты всегда так ко мне относилась... Ты... Она... Ты ей сказала...

– Она терпимее к людским порокам.

– А я, что, такая узколовая, что никто ничего не пытался мне объяснить?!

– Нет.

– Она всегда была твоей любимицей...

– Что за нелепые упреки? Я готова бросить все ради тебя.

– Она младшая, а им вечно все самое лучшее.

– Она нуждается в опеке больше, чем ты. Ты всегда показывала мне свою самостоятельность, не так ли? Вера была болезненная и ласковая, а ты вертелась, как юла и не выносила показывать свою потребность в ком-либо.

– А ты же была не из тех, кто просто так раздаривает любовь.

– Я люблю вас больше, чем ты воображаешь. Ты считаешь,

что недополучила от меня ласки, а Вера получила больше, чем надо, но не забываешь ли ты, как сбрасывала мою руку со своей головы? А ты оцетинивалась еще больше. Любовь не снисходит просто так – мы учимся ее заслуживать.

– Я не могла вынести зависимость от кого-то. Для меня это так же отвратительно, как жалость ко мне. Как будто я проиграла.

– Вы всегда были слишком особенными...

Полина устала думать. О вечном ощущении, что мать куда-то уплывала, даже читая им сказки, даже смеясь с ними и прыгая по кроватям, вдрызг разметая пыльные перья из подушек.

– Значит, это правда... Я всегда считала себя чужой в этом доме.

Поля закрыла глаза, забыв признаться, что ей нравилось чувствовать себя чужой и в семье и в жизни. Поэтому она нашла прибежище сначала в неистовой борьбе, а потом в неистовой страсти.

– Я чувствовала то же самое в своем доме. Так бывает чаще, чем ты представляешь. Наступает момент, когда ты понимаешь, что что-то с этой жизнью не так для нас, а все делают вид, что все прекрасно...

– Чья я дочь, мама? Того офицера, да? – надрывно спросила Полина, не желая слышать ответ.

– Ты уцепилась за мысль, что Валевский не твой отец, как за якорь? Поэтому ты ему ничего не должна и не обязана

терпеть? Но прости, ты родилась через два года после смерти моего любовника.

Полина громко дышала. Казалось, она не была удовлетворена.

– Кем ты меня считаешь? Дрянью, которая из мести могла выйти замуж? Да кто и в каком забытье мог бы так сделать? В дешевых романах – отомстить даже не возлюбленному, а чьей-то там сестре. Человек не так прост, чтобы какой-то его поступок или отношение к кому-то другому можно было охарактеризовать так однобоко. Все, что мы делаем, мы делаем для собственной выгоды. Пусть даже речь о самопожертвовании – оно приносит моральное удовлетворение. Самоубийство приносит избавление. Месть – злорадство. Я хотела семью после всего этого, после смерти моего дорогого Саши... Я хотела покоя.

– Каково это, мама?

Мать посмотрела на дочь мутным ненавидящим взглядом.

– Каково? – жестко отчеканила она, словно сомневалась в разумности своей дочери. – Омерзительно! Я не жила, я существовала! Приходя к себе, я часами сидела на одном месте и старалась избавиться от этой брезгливой дрожи, сознания себя грязной. Кретины вокруг шептались, что я верчу любовниками как хочу. Да это они мной вертели! В силу своей природы, в силу непреложного закона вещей. Я лишь играла по их же правилам, нарастив зубы для выживания. Я

ни за что бы не вступила на это попрание, если бы не обстоятельства. Я тогда мало рефлексировала. Перегорела тогда – слишком безумна и сжигающая была молодость. И опустилась в сплин.

Полина поникла, ее апломб разом куда-то испарился. Для нее всегда загадкой была фатальность матери и ее вывернутое умение везде видеть трагедию, годящуюся, скорее, для чьего-то переложения ее жизни.

– Прости, – тихо сказала она.

– Поля, – Мария задремезжала тепло. – Когда ты была на подходе, я страшилась. Я не видела себя хорошей матерью – слишком озлобленная. Но любовь пришла, видя ваши щечки и шажки. И от этого не скрыться. Наверное, не всем женщинам дано любить своих детей, не все чувствуют под копирку... Я с недоумением и страхом ждала детей, не находя в себе чувств, о которых все кругом твердили. И чувствовала вину за то, что не люблю идею своих детей, не могу рассыпаться в восторгах от этого. Младенцами я недолюбливала вас за страдания и несправедливость, которые вам еще предстоит понять и молча с ними бороться. Наверное, я слишком много думала – мысли вредят беременным. Может, потому и не любила, что понимала – бороться вы не сможете, пойдете на поводу. Отсюда росло и неприятие, отрешенность от кого-то, кто заведомо обречен. Я радовалась обеим вам. Первые дети не так изматывают, делают тебя не собой. Я вас любила, но не могла избавиться от брезгливости по отношению к вам.

Сейчас я смеюсь, вспоминая это. Женщины глубже, тоньше. Я вижу это в вас. Вы не безмолвные страдалницы, в вас обеих стержень. Хорошо, что вы родились девочками. Мы чувствуем палитрой, полями. Хоть отчасти я тебя понимаю. Твою неудовлетворенность. Она присуща каждой умной женщине. И если я порву из-за тебя с твоим отцом, я это переживу, хоть мне и будет тяжело рушить столько лет. Спокойных, сытых лет с ним. Но я не переживу, если ты проживешь обычную женскую судьбу невидимости. Поэтому, прежде чем с кем-то куда-то бежать, ты подумай.

Мария прикрыла веки. Она не сказала, что Вера вовсе была нежеланным ребенком, но, родившись, был куда прекраснее, чем ее предчувствие. И как после этого пути перерождения в любви к беззащитным существам Марии болезненно было смотреть на сепарацию дочерей, на то, как они все меньше нуждаются в ее недостаточно, наверное, устойчивой руке.

Полина молчала. Она была поражена такой неслыханной откровенностью. Она была благодарна.

– Как ты можешь? Как ты смеешь?! – кричала Вера срывающимся от отчаяния голосом накатывающей ненависти.

Полина с осатанелыми, но полными решимости глазами дробила ладонями с размаху дверь за дверью, мчась к выходу.

– Остановись! – выла Вера, не зная, что хочет больше – дать ей пощечину или зарыдать. – Мать больна, о чем ты думаешь?!

– Вы меня своими мещанскими штучками на дно не утащите, – отрезала Полина каким-то отстраненным, грубым голосом и вылетела на лестницу у входной двери, пока чемодан бился о ее колени.

– А мы с матерью что делать будем? Сгинем вовсе?! Нам есть нечего!

Вера бессильно стояла и смотрела, как сестра садится в экипаж, возницей у которого был Игорь, криво ей улыбнувшийся. Его змеиные глаза долго еще стояли перед ней, даже когда оба, подняв пыль, растворились в безызвестности. Вера не могла даже поднять рук от свалившейся на нее усталости. Происходящее казалось туманным сном, она не могла в него поверить. Она не могла вернуться в дом без половины своей прошлой жизни. В это просто не верилось. Поэтому продолжала стоять на ноябрьском ветру. Идти в дом...



где все делали вид, что ничего не случилось. Дом, который должен был стать хотя бы кратковременным спасением в сумятице столичного междувластия. А становился с каждым днем все опаснее во взглядах снующих мимо мужиков, затаенно ожидавших вестей из Петрограда.

Полинина эгоцентричность пожирала все на ее пути. Поэтому, наверное, она с такой страстью и отреклась от нее, склонившись перед кем-то еще более эгоистичным. Может, ее поразило, что кто-то сильнее ее. Или так ей показалось.

Воевать?.. Ее сестра, привыкшая если не к неге, то точно к наличию необходимого, как бы ни кичилась собственным аскетизмом в потребностях. И куда?.. На войну, в грязь, ужас, мат, мужичье... Ее сестра, которая должна эти темные времена быть их опорой и движущей силой к выживанию. В мечтах Полина на боевом коне поражала своей смелостью в бою и зубоскало умирляла зарвавшегося мужика.

Ее Полина... Подруга, пусть и насмешливая, ее детских дней, так повлиявшая на ее развитие и восприятие мира. Девочка, открывшая ей так много фактов, почерпнутых из глотаемых книг. С которой они вместе тыкали пальцами в муравьев и бросались, скрывая друг от друга страх, перелезая через низенькие каменистые ручейки в окрестностях их усадеб.

И всего этого нет теперь... Ни Поли, ни прежнего круга, ни прежних мыслей... Одна пустота и растерянность от оголтелой, серой и холодной яви. Невообразимой на стачках, ко-

гда так истово верилось, что, стоит только низложить царя, и все молниеносно наладится.

За туманом отчаяния Вера увидела Ярослава, шагающего к ней. Она безынициативно смотрела на него и не могла понять, как он здесь оказался, словно позабыв, что они соседи. В противовес своей обычной непробиваемой харизме он выглядел расстроенным.

– Как ты? – спросил он скупно.

Вера непонимающе смотрела на него.

– Твой друг только что разрушил мою семью, – ответила она хрипло.

– Твоя сестра соблазнила его на это.

Вера хмыкнула. Она даже не чувствовала сил разрубить его нелепую уверенность.

– Ты никогда не любил Полину...

– Я особенно не задумывался о наших с ней отношениях.

Мне жаль Игоря.

Вера сжала зубы. Пронзающая боль в душе странно улеглась – она расхотела разубеждать Ярослава.

– Я не в ответе за свою сестру, – сказала она только.

– А я за своего друга.

– Мне казалось, ты имеешь влияние на людей.

– На Игоря сложно иметь влияние.

Оба замолчали.

– Виды здесь красивые, – сказал он, смотря вдаль, на буйство среднерусской зелени.

Вечер расправил сердце туманом, призраком восстающим от самой травы.

Вера начала гогочуще смеяться, прерываясь на пугающие всхлипывания.

– Мне сейчас просто необходимы твои рассуждения о пейзажах.

– В общем, если нужна будет помощь, обращайся.

Вера закрыла глаза руками. С чего он взял, что ей нужна помощь? Все разрушено, помощь опоздала. Едва ли он сможет заглушить душевную боль. Ей очень хотелось, чтобы он ушел, потому что она боялась расплакаться и показать Ярославу свою слабость. А это было неприемлемо – рыдать перед посторонним мужчиной. В ее понимании мужчины и так необоснованно считали женщин немощными, а Ярослав с его повадками был сосредоточием этих странных далеких существ, неизменно поступающих так, как удобно им и заставляющих женщин приносить жертвы. Показать себя эмоциональной и нарваться на скупые утешения казалось неприемлемым. Особенно после примера Полины. Полины...

– Спасибо, – только и смогла вымолвить Вера и побрела обратно в дом, упаковывая ценные вещи до грозящего разграбления имения. Никто теперь не был уверен в завтрашнем дне.

Отец попрощался и уехал. Пряча глаза, какой-то совсем жалкий и недоговаривающий свои подлинные мысли. Вера не могла поверить в его предательство. Так часто он разглагольствовал о духовных скрепах...

Он долго уговаривал мать и Веру, но те с отвращением отказались. Мария получила обострение давно засевающего в ней туберкулеза и ехать попросту не могла. Младшая дочь осталась с ней.

Тянулось серое лето восемнадцатого года. Вера гуляла по еще не отнятым господским садам, периодически трогая воротник из суровых кружев. Отовсюду цвела бедность, недостаток, забвение и печаль. И зачем-то уходили те, кто составлял жизнь Веры. Без них отгородиться от реальности было невыполнимо. Она больше не могла жить как прежде, ее существование рассыпалось на несоответствующие друг другу периоды. Бывало, что цветение мыслей ненадолго уводило ее от осознания окружившей ее нищеты. И вдруг, как укол, возвращалось совершенное.

Не верилось в реальность всего. Лета, голода, измороено – призрачных лиц на засаленных улицах, выбитых дверей и крошащихся стен. Не верилось, что в грязных столовых, где крысы едва не бегали по тарелкам, она ела кашу, больше похожую на помои. Не верилось в собственное беспредельное

одинокчество, которое раньше вымалывалось с таким остервенением. Вера в оцепенении бродила где-то целыми днями или сидела взаперти. Походы на жалкую службу, на которую ее устроил Ярослав, где она переписывала какие-то бумажки, отдавали разнообразием и путем к выживанию, но не слишком веселым. Чувств не наблюдалось. Постоянно кружилась голова. Хуже всего был не голод, а ощущение пустоты и никчемности. Ощущение, пришедшее к ней впервые. Если бы только знать, что будет выход... но будущего даже не хотелось. Вера больше не читала книг, ничего не хотела и лишь боялась, что эта мгла над ее сознанием не рассосется. Она не верила теперь, что жизнь – волны, и за забвением, если хватит сил переждать, возникнет свое возрождение.

Эпоха казалась Вере неточной, ирреальной. Она видела не то, что было, а то, что хотелось. В газетах она читала разрозненные мнения друг о друге одинаково нелепых враждующих лагерей и не желала сложить в голове целостной картины происходящего. Ей твердили, что она обязана стать на чью-то сторону, понимать масштаб происшествия... Но Вера ощущала лишь голод и страх столкнуться с озверевшей толпой искаженных демонами лиц.

Дрожа, как насекомое, пытающееся взлететь, зажегся фонарь. С октябрьского переворота минул целый год, как один размытый месяц. И ведь привычна уже стала эта немыслимая прежде жизнь засаленного сахара на прилавках и хлеба по талонам.

А Петроград восставал будто бы прежним, смывающимся серо-водяным, так быстро уступающий неживой свет короткого дня сумеркам. Бледно-сдержанное великолепие выточенных каменных домов и соборов, вклинивающихся в пространство города несколькими яркими пятнами. Искусственная жизнь города, перекрывающаяся невыполнимой задачей поймать ускользающее солнце, о котором сейчас почти забыла душная испариной тумана бывшая столица.

Вера с щиплющей грустью смотрела на все это скандинавское великолепие из окон своей холодной и удушающей комнаты. Деревья под окном, политые шквальным балтийским ветром, клонились к раздробленным стеклам близлежащих домов. За стеклами этими в холоде сидели изможденные женщины, убаюкивающие рахитичных детей. По ровной дороге неотличимой от мостовой Невы во мгле уходили на идеологическую зачистку их мужья.

Сколько за последние месяцы Вера убегала и видела пожаров, опасно оглядываясь. Как-то споткнулась, повали-

лась на спину и в судороге смотрела на то, как чернильное небо грызет светлый дым пара...

Вера в расслабленно застывшей позе сидела на облезлом подоконнике, взирая на калейдоскоп серости внизу, в Петрограде, опутанном расколом. Она чувствовала тихое бешенство от абсурдности того, что ее город стал для нее таким ирреальным с этой грязью людей и улиц. Абсурдность того, что она с таким безмятежным прошлым вынуждена была сидеть сейчас здесь, полуголодная в заштопанных грубых носках без надежды вырваться на волю эмоций. Холод застревал в костях и прорастал дальше.

Сквозь неприятную вечернюю тишину, разбавляемую визгливыми звуками с улицы она услышала, как кто-то стучит в дверь. В атмосфере привычного одиночества и тупика Вера ощутила панику. Как пленник, отвыкший от присутствия другого человека.

В грубых носках она проскользила по паркету, начавшему стираться, и, не дыша, прилипла к двери на кухне, прежде использующейся только для слуг. Парадные повсеместно заколачивались – ведь господ не осталось.

– Кто-нибудь, – приглушенно доносилось из-за двери. – Валевские еще живут здесь? Глаша, ты? Я только с фронта.

Вера в оцепенении почувствовала в животе властные толчки. Какой знакомый и какой видоизменившийся голос...

В страхе, что ей только почудилось, даже почти не желая

встречаться с носителем голоса Вера отперла заедающий замок и едва приоткрыла покрытую краской дверь. В заросшем обветренном лице с колкими глазами проступали знакомые черты. Кого-то, кто был дорог еще недавно и как-то размыт последними событиями.

– Здравствуй, – тихо приветствовал Матвей с раскрывающейся в сумерках радостью.

Его лицо, выточенное темнотой, привело ее в чувство. В тумане обволакивающего света она засмеялась своим смехом.

Нелепость и юмор жизни. Вере казалось, она выпала из ровного хронологического пространства, ей открылось что-то иное, похожее, но не то. Слишком ирреален был Матвей, его огромные темные глаза, нависающие над ней, серо-золотая в полумгле кожа. Вере хотелось спать, а мимо проплывали какие-то жуткие слова и движения, необходимость говорить о войне и страхе за будущее. Еще весной империя сложила оружие в войне, на которую Матвей в свое время ушел. Войне, ставшей концом для их страны. А ведь ненавистный в свое время Распутин призывал прекратить братоубийство...

Она пыталась увидеть рядом Матвея и не видела. Понимала, что, наверное, он есть, но спрятался там, за этой потертой формой... Вере стало страшно, словно она впустила в дом незнакомца.

– Я ненадолго, – сразу предупредил он.

Она еще в марте Россия сложила оружие в войне. И,



невзирая на позорные условия, все выдохнули с облегчением.

– Мы ведь проиграли, – недоуменно отозвалась Вера.

– Проиграли, хоть и не должны были ни в чем участвовать. Но это не по-русски – а то вдруг люди хоть понюхают процветание.

– Тогда куда же ты уходишь?

– Так ведь теперь другая война.

Вера непонимающе сморщила нос.

Кто он, этот грязный солдат с мрачным взглядом и тяжелыми жестами, ссутулено обходивший комнату квартиры, где совсем недавно Валевские были полновластными хозяевами? Откуда нынче Вера таскала фамильное серебро и комоды красного дерева, когда заканчивался скудный паек.

– Бедная моя Вера, – наконец, проговорил он глухо, без своего обычного добродушно-обличающего тона. – Одна в разрушенном городе... Как же ты живешь?

– Живу... Как все остальные.

– Никто тебя не обижает?

– Из прошлой жизни все сгинули – уехали, умерли, перекрасились.

– Так есть же охотники из жизни новой, – недобро сказал Матвей.

Вера собралась самодовольно отметить, что с ней ничего дурного произойти не может. Однако воспоминания о страхе заходить в неосвященные подворотни обездвигило бойкий

ответ.

Матвей кивнул головой без видимой цели и впал в насупленную мрачность. Вера с трудом сидела на стуле, так ей хотелось лечь в пыли и сумерках.

Так они сидели долго в тот типично хмурый день, быстро перетекший в невнятный вечер. Сидели, взирая на единственную во всей квартире свечу. Вера с трудом удерживала внимание на происходящем, так ныли ее мышцы и особенно сердце. Матвей... Разве такой он был? И его перелопатили, живейшую душу. Революция была чертой официальной, но все пошло прахом куда раньше.

Прахом пошли ее детство и юность. Волшебство тех лет, когда ее восхищал каждый новый закат, каждый лист смородины и каждый жук, спускающийся на землю по ароматному воздуху. Вера ужасалась мысли, что никогда вновь не почувствует наслаждения от существования, от которого, казалось, все вокруг так и готово было лопнуть, разлиться кругом воздушной теплотой. Все было так ново и блестяще, раз она только недавно вышла из ниоткуда. А теперь... теперь шли эти длинные тяжелые дни, дни бессмысленной изматывающей работы в секретариате. Вера любила работу, но ту, которая давала перспективы, позволяла надеяться на какой-то просвет в будущем. А не эти духовные и социальные тупики.

А теперь этот Матвей, призрак ее счастливых, хоть и страдающих по нему дней. Матвей, всегда веселый, дружелюбный и открытый, который сейчас сидел напротив нее в хо-

лодной квартире с плесенью на стенах. Матвей, всегда так кстати разбавляющий ее спокойную меланхолию и провоцирующий ее на смех и краски. Она опасалась смотреть на него, настолько ее страшило его серое лицо. Запинающимся тоном она говорила:

– Понимаешь, мама заболела, а Полина... Она сама не своя была и... Просто уехала.

– Одна?

– Не совсем... Нет.

– Значит, с этим. Прекрасно.

– Я ей говорила, – Вере нестерпимо было смотреть, как тяжело он дышит, закрыв глаза. – Говорила все...

– Мне жаль, – сказал Матвей, и впервые за вечер Вера увидела в нем своего прежнего друга. – Все мы получили от жизни не то, чего ждали.

– Мама умерла.

Матвей расплывался перед ней то ли из-за слез, то ли от усталости.

Он утешал ее, держал ладонь, пока она, с отрадой плача на живом плече, рассказывала ему, как Мария угасала от туберкулеза, который всю жизнь так успешно сдерживала. Вера едва улавливала его утешения, даже собственный голос, его тон и темп казались ей потусторонними. Ее манила холодная неприятная постель, которую она кое-как перестилила теперь сама.

– От меня ничего не осталось. От той меня, моих воспо-

минаний, всего, что так дорого... Меня нет, есть какая-то внешняя оболочка, которой что-то надо... Какая-то ерунда. Которая ходит, что-то говорит, смеется какой-то чепухе...

Вера мало что понимала от страха, что не могла справиться с накатившим чувством нереальности и беспомощного желания. Она так давно его любила и так давно его ждала... Он провел пальцами по ее шее. Вера тихо застонала.

Счастье хоть миг не думать о грозящем возвращении в клоаку пекла захватило Матвея. Цветущая молодая женщина из прошлой, лучшей жизни, друг, слушатель, собеседник. И зачем он только пошел на эту войну... Матвей поспешно поднялся, одергивая себя за истрепанную шинель. Вера молча посмотрела на него.

Он начал нежно и настойчиво целовать ее волосы, щеки и скоро добрался до губ, повернув к себе ее голову с растрепавшимися прядями. Вера уже не понимала, что делает и только прислушивалась к забытию его прикосновений.

Это было так ново и странно, что Вера почувствовала любопытство и что-то другое, более приятное и задорное. Перед ее памятью вставали туманные истории матери, намеки и неосознанные стремления взросления, пока Матвей все смелее дотрагивался до ее прекрасно очерченной груди, благодарно отзывающейся на каждое прикосновение. Захватывал экстаз невероятности и правдоподобности его кожи, близких волос, пахнущих теплом.

Обоим отраднo было ощущать рядом с собой живое теп-

лое существо.

Вере казалось, что он пришел, потому что она была сестрой Поли, ее кусочком – так он приблизился к потерянной мечте. Как ни старалась, Вера не чувствовала себя обиженной.

Плевать на последствия, все и так смешалось в безобразную кучу, уже не было утерянных выборов прошлого – уступить или соблюсти.

Вере хотелось расстроиться, почувствовать себя поруганной, но Матвей был первым человеком, обратившим на нее внимание за последние месяцы. От него исходило странное тепло, мужественность, притягательная тем, что она ничего о ней не знала.

Наверное, он скоро сядет на какой-нибудь корабль и отплывет «в жаркие страны, к великим морям». Наверняка Матвей либо канет в неразберихе времени, либо женится на какой-нибудь несчастной девице, готовой на все, лишь бы иметь защиту. Вере тяжело было думать об этом, но необходимость заново отстраивать жизнь брала верх. Воспоминания зарастали настоящим.

Вера часто мучилась от какой-то неоформленности телесных брожений, несмотря на то, что ей вдалбливали, будто это непозволительно и едва не сделали холодной на всю жизнь. Матвей сдернул пелену. Какой она была зажатой, боязли-

вой... И почему Мария ничего не сказала? Чем разводить демагогии о Черубине Де Габриак... Вот что по-настоящему пригодились бы ей в жизни, а не отвлеченные рассуждения ни о чем!

– Это кто? – Марина неодобрительно приподняла брови.

Вера невольно подумала, зачем Ярославу эта заносчивая барышня, но потом вспомнила, что у мужчин иные критерии отбора.

– Соседка, – терпеливо отозвался Ярослав, хотя голос его стал чуть мертвеннее, чем обычно.

Они вышли за дверь. Вера слышала какие-то попискивающие крики, тут же сменяющиеся тишиной и низким шепотом.

Ярослав открыл дверь и подошел к Вере. Вслед ему принеслось:

– Великолепно! Приводи сюда свеженьких девиц, в восторге!

– Сначала разберись с Виктором.

– Ах ты скотина! С ним все кончено!

Вера вытаращила глаза и не решалась предпринять какие-то решительные действия, пока Ярослав не взял ее за локоть и не вывел за дверь.

– Мне жаль, – произнесла Вера, пока он закуривал на улице.

– Чего?

Вера опешила.

– Из-за меня...



– Слушай, прекрати винить себя во всем. Понимаю, буржуазное воспитание, но...

– У тебя самого буржуазное воспитание.

– Я от него отошел.

– Неужто, – в интонации Веры появилась ирония.

Ярослав удивленно посмотрел на нее.

– Что ты хочешь сказать?

– Что семья и среда, где мы выросли, никогда из нас не вытравятся, как бы мы не старались убедить себя в обратном.

– А из Ленина она тоже не вытравилась?

– С ним лично я не знакома, – парировала Вера. – Но отец его явно не был консерватором.

– У тебя изможденный вид. Есть хочешь?

– Кто не хочет сегодня? – с утомленной улыбкой ответила

Вера.

– Собственно, за этим мы и шли к Марине. Но она что-то не в духе.

Вере казалось, что внимание Ярослава к ее персоне обусловлено скрытой влюбленностью в Полину и досадой на то, что две экспрессивных личности не могут образовать прочный союз. Она намекнула ему на это. Он нетерпеливо отозвался:

– Она меня не интересовала. Она была как картина, как дерево. Ближе сходить с ней я не имел никакого желания, да и она тоже.

Вера ненароком подумала, что он выдал себя – он не мог

терпеть конкуренцию, особенно от женщины. Полина ни у кого не могла производить впечатления картины – Ярослав заменил этим утверждением реальность. Почему-то это показалось Вере смешным. Поля тоже вечно гналась сама за собой, задыхаясь, но не останавливаясь. Чем они так не удовлетворяли себя? Может, в них просто не было ее спокойствия. А может, это она, Вера, была безинициативна, ей не хватало эмоций и желаний.

– Почему жизнь состоит из людей, по которым скучаешь, хотя они еще живы? – тупо спросила Вера, не требуя ответа.

– Потому что далеко не все в нас нуждаются.

Внезапно Вера подумала, почему он не на войне, но спросить не решилась. Наверное, он не записывался в коммунисты...

Вера пришла вновь – поесть. Ей следовало бы отказаться, но она не видела, зачем. Редкую отдушину Вера получала, немного просачиваясь в круг Ярослава. Он не был ей особенно близок, но Вере в тот период не приходилось выбирать. Сама ее личность отторгалась от химерного ощущения собственной значимости из-за близости других мыслящих существ. Все, что она делала, это бродила по городу, ища подработки, и стояла в очередях за содой, потому что мыло, как и почти все необходимое или просто красивое, напрочь исчезло с прилавков.

Главный интерес представляла Марина, поразительно необычная для прежнего устройства и странно шаблонная для переворотов, творившихся теперь повсеместно.

Чем занималась эта женщина, Вере так и не удалось установить. Но она смутно догадывалась, что есть кто-то третий, и все довольно серьезно. Почему Ярослава это устраивает, для Веры так же было загадкой. Она привыкла считать, что, если мужчине нужна женщина, он не терпит ни конкуренции, ни неверности. И то, что она приходила к любовнице своего соседа поесть, очень скоро перестало казаться ей странным. Потому что после той сцены Марина вела себя по отношению к ней до трогательного предупредительно.

– Он привык приходить и уносить, – сказала подобрешая

Марина, наблюдая, как Вера пытается чинно есть суп, хотя внутри нее словно все превратилось в необъятный желудок. Килограмм пшена, принесенный Марине в подарок, примостился на табурете.

– Что уносить?

– Спокойствие. Тип мужчин с лучшим набором качеств самца. Как плата за это – непомерное самомнение, желание со всеми соревноваться. Но именно их больше всего любят женщины. Потому, что мы так созданы.

– Или нам вдалбливают, что страдание поэтично.

Марина повела бровью.

– Есть мужчины, которые видят и берут, – тем не менее продолжила она. – И даже если не совсем любишь, идешь следом. Становится увлекательно. А есть такие... Которым достаются объедки с чужого стола или вовсе те, кого есть никто и не хотел.

Вера приостановилась. Если в ее воображении и тлел какой-то интерес к Ярославу, он успешно притуплялся общей апатичностью ее сознания в данный период. Вера плохо ела, отрывисто спала и почти ничего не соображала. Она истерично не желала внимать тому, что творилось вокруг. Не желала признавать факта идиотской, все тянущейся войны и, главное, неопределенности из-за нее. Не желала верить, что ее прошлая жизнь распалась. Что больше нет мамы, ее скупой нежности и ясного запаха.

Вера попыталась подумать о Матвее. Обладал ли он этими

качествами? Наверное, да, если ее так тянуло к нему. Но он был более дружелюбен и остроумен, чем Ярослав, не умеющий выглядеть смешно. С ним она как с единственным на свете другом хохотала до сгибания пополам. Он не стеснялся уважать женщин. Ярослав же помогал без шуток-прибауток, как Матвей, и не забывал обещаний. Он охотно позволял ей укрываться в своей тени, хотя Вера и не позволяла руководить собой. От каждого его действия веяло значительностью. Он начал казаться Вере надежнее Матвея. На миг Вера испытала досаду от того, что Ярослав не вел себя как завоеватель с ней, а усвоил тон отца. А к Марине, колкой, высокомерной, был странно привязан, стоически терпя ее язвительность. Вере вновь стало грустно от того, что люди куда-то ускользают, имеют от нее какие-то секреты, легко вступают в контакты... В то время, как она обо всем узнает последней.

– Я бы не сказала, что у Ярослава непомерное самомнение, – проговорила Вера, когда эти размышления пронеслись в ее голове за секунду.

– Чтобы понять мужчину, с ним нужно спать.

Вера покраснела.

– У тебя есть друг?

Вера задумалась.

– Нет.

– Может, оно к лучшему. У меня их было столько, что черт ногу сломит.

– И что это дало вам... тебе?

Марина странно прищурилась.

– Не знаю. Просто так идет по накатанной.

– Какие-нибудь... Эмоции? Новые впечатления?

– В общем, да... Но ты усложняешь повседневность.

Вера задумалась вновь.

– Так я лучше понимаю. Мне кажется, что так я лучше разбираюсь в хаосе, который творится вокруг.

– Порой лучше просто жить, отдавшись чувствам.

– Находим?

– Именно.

– А разум?

– Прибереги его для стариков, – рассмеялась Марина, закинув голову.

Почему-то, даже когда она смеялась, она оставалась холодноватой.

– В этом секрет иметь большой круг знакомств?

– Что ты имеешь ввиду?

– Ну... глубоко не вникать в людей, от каждого брать понемногу, каждого немного понимать и чуточку любить?

Теперь уже задумалась Марина. Она смотрела на Веру своими большими серо – голубыми, в темноте превращающимися в синие, глазами.

– Наверное... – проговорила она и рассмеялась. – Откуда ты такая взялась-то?

«Что за нелепая потребность желать жить легко?» – подумала Вера. У нее мелькнула мысль, которая раньше не при-

ходила – из каких социальных кругов вышла Марина? Вроде бы это должно быть важно, хоть раньше Вера и не придавала этому значения.

Вера украдкой взглянула на ее высунутую из халата длинную худую ногу. На странную ухоженность в бытовой неразберихе. Она чувствовала, что Марина любит порядок и комфорт. Но как она могла достичь его в таких спартанских условиях?

Ее ярко выраженный материнский инстинкт, порой наблюдающийся у бездетных женщин и проецирующийся даже на Веру, которую легко можно было бы расценить как соперницу, небольшая глупость при ушлости и желании комфорта одновременно озадачивали и забавляли Веру. Колорит этой ленивой, вздорной и по-своему властной женщины филигранно переходил в нелогичность собственных поступков и незлобивость. А все вместе приводило к безалаберным ситуациям с мужчинами.

Вере рядом с Мариной казалось, что она недостаточно воспитана, утончена... словно и не было этих муштрующих лет старого режима. Не на свой особый вкус, колюще видящий лишь искренность, а на уклончивый и едкий взгляд Марины. Уж в чем-чем, а в умении поставить себя, яростно скрывая страх не быть совершенной, хозяйке дома нельзя было отказать.

С умным видом, не теряя величавости и манкости, в кругу Марины принято было обсуждать текущие проблемы, щедро

сбагранные заимствованными откуда-то мнениями и фразами. Непрерывно курить и отпускать двусмысленные шуточки о собравшихся. Марина охотно занималась черти чем, напуская на себя печать печали, переустройства и борьбы одновременно. Но Вере это быстро надоело, их мишура почти не подхлестнула ее к пропасти увлеченности чем-то пустым. Но дурные девушки, полные сил и непогрешимости, неизменно имели на нее влияние. И она взирала на лоскуты общества Марины словно из партера. А с Матвеем можно было дискутировать, кричать на него, нервно смеяться от невозможности подобрать аргумент и, через секунду его находя, ликовать и торжествовать от того, что он, кладезь аргументов, на минуту замолкает от услышанного.

Такие, как Марина, притягивали, отравляли помыслы, заставляли хотеть быть с ними, на их блестящей стороне. «Зато она хороший человек», – постоянно слышала от нее Вера о ком-то и удивлялась, по каким критериям она это определяет, сама не являясь оплотом морали. А потом понимала, что Марина сама себя считает едва ли не идеалом, поэтому, разумеется, имеет право судить о ком-то, кто оказался более близок к ней по мировоззрению и оценке.



– Женщина должна вести домашнее хозяйство и растить детей – это аксиома.

Вера опешила. От Марины, явно несоответствующей озвученному идеалу, она не ожидала подобных перлов.

– А для меня аксиома, – невозмутимо подхватила Вера, – что умная женщина не может повторять чушь, что она кому-то что-то там заведомо должна. Потому лишь, что ей это прививали с детства. Слова «женщина должна» вызывают у меня приступы эпилепсии. Не люблю, когда люди повторяют друг за другом фальшивые истины, не вдумываясь и способствуя дальнейшему распространению заразы.

– Очень умно заведомо заклеить мнение других, отличное от твоего, как идиотизм.

– Уж коли это так, спорить бессмысленно. В принципе право женщины на все, чего она желает, не должно обсуждаться.

Марина хмыкнула, одарив ее стальным взглядом и усмешкой. Вера подумала, насколько нужно быть неуверенной в себе, чтобы подмечать и высмеивать малейшую оплошность других. Наверное, Марина ждала, что ее осуждение магически подействует на Веру, заставив ее прогнуться. Вместо этого Вера распрощалась.

Вера вышла за Ярославом под паутинный дождь, который

даже не нес за собой холод – лишь постепенно наполнял влажной волосы.

– Ты слишком высокий, – с досадой заметила она, едва не ткнув его в глаз зонтом. – Держи сам, а то оба вымокнем.

– Тебе не обязательно меня провожать.

– Но я хочу. Мне стыдно.

– За что?

– За то, что я из-за своей глупости тревожу тебя. Не в первый раз.

– Пустяки.

– Ты специально строишь из себя добродетель?

– Возможно, – он улыбнулся.

– Наверное, следующий раз будет юбилейным.

Он улыбнулся вновь. Его улыбка была так редка и оттого так необычна, одерживая странную победу над загадочной или даже насупленной угрюмостью, непонятно контрастирующей с редкой широтой связей. На лице Веры играла причудливая смесь из напряжения, грусти и приподнятости, граничащей с обреченностью. Ярослав видел это, но ничего не говорил.

Он серьезно посмотрел на нее. Она отвела наполненный взгляд.

– Есть вести от Матвея?

Веру передернуло.

– Нет, – ответила она, думая о Полине. Саднить стало реже, но не менее резко. Она вспомнила, что он стал свидетелем.

лем того, как ее выбило из колеи предательство сестры. Ей стало неприятно.

– Я уезжаю.

– Куда?

– На юг... Я хотел бы... Достойно трудиться. Дело ведь не в нищете. Нищета – только почва для чего-то пострашнее.

– Они ведь тоже этого хотят.

– Это не повод рубить всех без разбору. Что это за блажь вообще? Расчищать землю от перенаселения? У нас земли в избытке.

– Ты – пацифист?

– А ты нет? – уморительно вытаращил глаза Ярослав.

– Я нисколько это не осуждаю, – сквозь улыбку Вера все же считала, что необходимо прояснить это обстоятельство.

– За дядюшек, дедушек, как и за царя у меня нет никакой охоты подыхать. Все эти brave офицерики с их честью... красивы в рассказах.

Вера внимала в молчаливом удивлении. Она не привыкла, чтобы мужчины, сосредоточием которых был Ярослав, откровенно говорили о том, что чувствуют. Обычно всю свою словоохотливость они предпочитали изливать на политику и злободневные события, тщательно клеймя женщин за пристрастие к сплетням. А Вера обижалась, потому что частенько не могла разоткровенничаться ни с едва знакомым, ни с родным.

Ярослав взглянул на нее и задержал взгляд, словно сожа-

лея, что проболтался. Но безобидный вид Веры успокоил его. Она не стала спрашивать причины. Она спокойно приняла факт, что он был возле, но не рядом. Может, она недостаточно старалась понять его.

– Счастливого пути, – выдала она мрачно.

Ярослав помедлил.

– Михаила красный террор расстрелял.

Вера сглотнула.

– За что?

– Беда его в том, что определился и юлить не стал. Вот куда попадают люди чести.

Та короткая их весна... Благородный Михаил закончил так же, как многие их идеалистически воспитанные соотечественники, очистив дорогу людям менее щепетильным. В которых безусловные иллюзии переросли в обиду на то, что не все оценили их стремления.

Боль стучалась медленно. Нужно было уйти. Возникла догадка – а от Марины ли на самом деле сбегает Ярослав? Когда-то можно было пустить в оборот избитую фразу, что все решают связи. Сегодня же из колеи выбивало именно то, что больше не было работающих правил, пуская даже несправедливых.

– А у меня подруга пропала без вести... В этой неразберихе откуда я знаю, жива ли она вообще? В революции она самое ярое участие приняла, а не просто смотрела сбоку.

Ярослав молчал. Вера спросила себя, есть ли у него поли-

тические взгляды, а затем удивилась, зачем ей это.

– В наше время даже самый рациональный человек понимает, что логика может быть присуща только сытому времени с ясными законами, – осторожно произнесла она.

Сколько уже было поводов испытывать разлуку с ее непрошенной тоской... А вдруг и Анну расстреляли? Узнает ли она вообще когда-нибудь правду о ее судьбе? А что все-таки с Полиной?.. Как мог уехать отец? И жив ли еще Матвей? Но шире всего этого облепляла отсеченная пустота без Марии, подкравшаяся после животного удовлетворения, что та больше не будет мучиться.

Исхудавший свидетель войны после победы пролетариата, стремящегося в мировой, обремененный развее что воспоминаниями, с рваными локтями и недостатком сахара в крови вновь оказался он в родном городе, но уже другой стране, новорожденной, удалой и нищей. С перебитым носом, пьянящим ощущением чистого листа и безопасности. Надолго затянулось возвращение к истокам по полям надорванной страны. Неразбериха, ничего не отлажено, никому толком не напишешь, ни у кого не спросишь. И сквозь все это продолжалась его юность, которую он намеревался испытать за все отнятые годы.

Он шел по продуваемой несмотря на весну петроградской набережной, лоснящейся в белом отскакивающем от Невы солнце. И по обыкновению не унывал, раздумывая, какие из своих связей задействовать в первую очередь, чтобы получить для начала крышу над головой и копейку. По сложившейся традиции все его родные успели завербоваться эмигрантами.

И тут он увидел ее. В несуразном пальто и с неизведанным им выражением сосредоточенности. Она шла чуть неуверенно, как будто не зная дороги, по которой хаживала сотни раз.

– Вера, – пробормотал Матвей, еще не понимая, рад ли он столкновению и вспоминая то, что натворил в их последнюю

встречу. Радость и раскаяние через мгновение пересилили стыд.

– Вера, – позвал он чуть громче, в странной надежде сознания, что будет услышан, потому что сам слышал себя.

Но она почему-то услышала. Резко развернув голову к нему, будто откуда-то вырываясь, она дрогнула. И резко зашагала прочь.

– Вера, – повторил Матвей уже в третий раз, чувствуя себя ослом, поскольку больше ничего из себя выдать не смог.

Матвей поспешно приблизился к ней, она отвернула голову, но всей своей позой выражала ожидание. Ее изящество, несоответствие содержания и замызганной оболочки даже в этом несуразном пальто растрогало Матвея. Он испытывал горечь, но самонадеянно верил, что слишком хорош и непременно заслужит прощение. И это действительно пленяло. Он опасался начать, опасался разрыва, но что-то подсказывало ему, что он ей не ненавистен, что затронул какие-то верные струны.

Вера тихо пошла дальше, давая ему возможность присоединиться к себе.

– Какой сюрприз, – произнесла она только.

Матвею показалось, что она сказала это резко. Он охотно услышал это в ее нейтральной интонации.

– Я... Вера...

– Ты вовсе не Вера, – она внутренне посмеивалась над ним, но не показывала виду. – Ты демобилизовался?

– Войне конец. К досаде страны, любящей отдавать своих детей на бойню, – ответил Матвей, досадуя на собственную нелепость.

– Знаешь, я думала, что больше тебя не увижу.

– Вера я... был таким... прости, – слова посыпались из него свободно, потому что Вера находилась в каком-то спокойном, даже отрешенном состоянии. – Ты... очень злишься на меня? – Матвей сам поморщился мертвой неестественности своих слов.

Вера видала людей, прошедших бойню. У них не оставалось столько островков юности, как на лице Матвея.

– Кем ты был? – спросила она пораженно.

– Санитаром.

Вера стыдливо помедлила. Стезя, уготованная ей, если бы она не была такой букой.

– На чьей стороне?

– На обеих.

– Разве так бывает?

– Когда не калечишь людей, а помогаешь им, бывает.

На переносице Веры разгладилась сведенная кожа.

Матвей поднял на Веру свои большие добрые глаза. Вера соображала, как ей себя повести. Скачок радости и ожидания вознесения, насыщенной жизни и старости вместе пересыпался в какую-то пресыщенность и почти скуку. Матвей как-то потускнел и вызывал вовсе не те чувства, что сопровождали ее все время, пока он был на фронте. После грез о



его возвращении она почему-то не испытывала ликования.

Вера почувствовала, что должна разыграть трагедию. Что это нужно им обоим, чтобы смыть прошлое в неподвижную вечность.

– Я не понимаю твоего поступка.

– Вера... Прости, если сможешь. Это было неприемлемо. Я... Я знаю, что слов ничтожно мало. Но ведь... нас изломали эти катаклизмы тоже.

Вера, наконец, посмотрела напрямик Матвею в глаза уставшим взглядом, в котором не было ненависти.

– Я был ожесточен, пьян усталостью и тем, что стало с моей жизнью... Даже уверен в собственной неотразимости. Знаю, меня это не оправдывает, но ты всегда все понимала. Ты всегда нравилась мне, еще с того театра. Я все соображал и оправдываться не собираюсь. Нашло что-то. Какое-то упрямство, агрессия, желание отомстить твоей сестре и одновременно радость, что преград больше нет. Почему-то тогда я, тебя не спросив, наделял тебя своими мыслями. Потом мне стало паршиво.

Вера слушала молча. Для нее было открытием что кто-то кроме нее может домысливать чужие желания. Вера всегда удивлялась чему-то умному, что слышала от людей, привыкнув черпать мудрость лишь из книг. Но книги ведь тоже писались людьми.

– А знаешь, каково было мне, когда твоя драгоценная сестрица мучила меня своими двусмысленными письмами?

– Но при чем здесь я? – сказала Вера глухо. – Слабое утешение после блистательной Поли? И не говори мне, что я считаю, а чего нет. Это я сама решу.

Серо-голубая гладь сливающихся неба и воды в жажде отражения захватывали друг друга.

Вера испытывала необъяснимый подъем и улыбалась. Матвей был рядом... но нужно было сохранить лицо, трагичность внутреннего. Она отвела глаза и вздохнула.

Ждала его, сама не понимая. Каждый шорох – не он ли, нет ли для нее письма?.. Выгорело, а месть осталась. Пусть и он теперь хлебнет, как она в их трио.

– Я совсем одна. Все, кого я знала, либо рассеялись по свету, либо умерли, либо ушли воевать. Мне страшно.

– Голодай со мной.

Вера улыбнулась улыбкой неверия, хоть и услышала, что хотела.

– Вера, – Матвей взял ее за руку, опасаясь, что она вырвется. Но вместо этого она потянулась к нему и доверчиво обняла. Он заметил ее детские глаза до того, как они скрылись за его плечом.

– Мне так плохо. Жизнь стала каким-то непрерывным кошмаром без выхода. Я так давно не видела лица друга.

Матвей пораженно, с облегчением и благодарностью обнял ее в ответ.

– Ты не сердись на меня?

Вера молчала. То, что ее впечатлило произошедшее, его

ведь вовсе не оправдывало. С другой стороны, он сделал то, что сделал бы на его месте почти каждый. Она и сама словно протянула ему в ту ночь каравай хлеба, как заплутавшему путнику. Было естественно сделать это сквозь столько отрывков прежней жизни, сквозь прежнее восхищение Матвеем. Веру передергивало от того, что она, рассудком понимая, что он не должен был так поступать, сердцем на него не обижалась. Она не могла на него злиться. Слишком у него были добрые печальные глаза. Слишком она долго ждала его. Слишком многое связывало их в прошлом. Томительные вечера, весна и тающий запах ветра на катке... Долгие походы в траве по пояс в их усадьбе... пело солнце, цвела и летела мимо жизнь. Вера вспоминала об этом как о лучших моментах бытия. Когда она открыла для себя столько нового и бежала к нему на каток сквозь свежесть марта.

– У всех нас есть то, чем мы не гордимся.

– Когда ты стала такой мудрой?

– А что, я была очень глупой?

– Нет, – обескураженно замолк Матвей.

– Я видела, как погибла страна, в которой я родилась. Это уже немало. Хотя мне еще рано строить из себя всезнающую... Странно жить с этими осколками.

– Я боюсь...

– Чего?

– Вновь остаться одной в этой жуткой холодной квартире, напичканной безумными людьми.

– Вера! Ты больше не будешь одна.

Он взял ее за локоть и потащил за собой, борясь с ветром, бросающимся на них с удивительным постоянством.

– Где тут ближайший ЗАГС? – возбужденно крикнул Матвей, поперхнувшись шквалом, обрушившимся ему в горло.

Вера затормозила так резко, что едва не оторвала ему рукав.

– Избавь меня от этих мальчишеских выходок. Ты уехал черт знает куда, ничего не объяснив, а теперь возвращаешься как ни в чем ни бывало! И думаешь, что я кинусь к тебе в благодарность, что ты вообще соизволил ко мне вернуться? Если тебе нужна покорная жена, то это не я!

– Да не нужна мне другая жена, ни покорная, ни скучная, никакая еще, – сказал он, как умел, со своим спокойным юморком. Она вгляделась в его мягкие, но стойкие глаза, в ироничные морщинки, в неожиданно привлекательную щетину.

Вера сощурилась и зашагала прочь. Матвей с невиданным упрямством, приобретенном от хронических лишений, побежал вслед.

# Часть вторая

## 1

Это ощущение пред летнего города, уже переходящего к индустриализации, но все еще совсем юного, как бы новообращенного. Активно развивающегося, пухнущего водопроводами. Хранящего в недрах дворов – колодцев запах новой советской жизни. Почти полное отсутствие автомобилей, широкие дороги и по-новому заселенные квартиры в высоких домах модерн. Несоизмеримый разрыв между умирающими от голода деревнями и лоскутной столицей.

Прежде чем направиться на учебу, Вера отворяла до потолка протянувшийся шкаф из ясеня, с омерзением прислушиваясь к шебаршению соседей за дверью. Но долго на этом досадном факте она не останавливалась – нужно было выбирать облачение, разрываясь между единственной юбкой и двумя фланелевыми блузками.

Блага, которые давала их сословию баснословно нищая страна, смелись, а Петроград оказался заполонен толпами каких-то неблагонадежных людей, которых Вера раньше лишь себе представляла, причем неверно. Толпы эти вваливались в старобытные квартиры и принимались засаливать их своими ручищами. Жизнь забурлила и затеснилась в ком-

мунальной квартире. Вера до сих пор не свыклась с мыслью, что в ее драгоценное обиталище, обуянное воспоминаниями целой семьи, подселили каких-то громогласных и не слишком аккуратных персон.

Женщины двадцатых годов – голодные, незащищенные, в простых однотонных костюмах – отголосках ослепляющей моды Европы того же времени – волновали Веру больше всего. Руками они мыли некрашенные полы, захватывая мокрую холодную тряпку и стирая колени в кровь. Замученные работой, они с утробным интересом отрывались от стирки ради скандала или сплетни. Вера не жаловалась и не роднила себя с ними. В простой одежде, которую приходилось стирать самой. Но на быте она не заикливалась, не позволяла ему завладеть болтовней нового времени, где толпы восторженных юнцов, орущих о новых формах, не замечали своих прохуdivшихся башмаков.

Мария Валевская позабыла научить Веру угождать мужчинам и вести хозяйство. В любом случае, навыки управления слугами теперь бы не понадобились ее дочери. Вера с теплотой вспоминала Полину, очень аскетичную в быту и очаровавшую этой аскетичностью ее саму. Они освободились от давления растерзанного быта, от прежних церемоний и привязанности к слугам, от вечных дум о том, что надеть или купить. Теперь все было просто, трудно, но каким-то удивительным образом интересно. А следы Поли крепко затерялись в межвременной суете. Вера пыталась отыскать ин-

формацию о сестре, но это было практически невыполнимо в стране, где разрушено оказалось все от почты до обувных заводов.

Выходя из дома, Вера прежде всего пробовала воздух. Если он был хрустелен и скупоблагрен ярко-белым солнцем, она приободрялась и размашисто шагала в университет балагурить с однокашниками и мечтать об обеде. Если же ее зашитые туфли сжимались при виде серости и капель по камню, Вера бежала за трамваем – крепко сколоченным, шумным, красно-белым. Бежала она и обратно домой к уюту Матвея вслед за отлетающими золотыми листьями в сочном солнце. Бежала за лекциями Петроградского университета, всеми корнями еще в старомодной жизни увесистых подоконников навязчивого запаха влажного дерева. С толстенными стенами и высокими спинками диванов в кабинетах профессоров – ушедшая пора не брезговала излишествами, а теперь ненавязчиво молчала о том, что произошло и затронуло всех.

Вера удивлялась сама себе, как умудрилась, уверяя себя в собственной тотальной меланхолии в переломный для истории момент, поступить на языковедческий факультет. И еще больше она поражалась, как мало, несмотря на отступивший с замужества голод на нее повлияла революция. Отовсюду несло сознание, что повлиять она должна была колоссально... У Веры не получалось ко всему относиться серьезно.

Весна иссушивала Ленинград, новообращенный, выно-

сивший в своем чреве три революции. Заливисто получалось хватать мир с неверием в его натуральность. На бегу растрепывались волны волос. Проносилась юность. Одно слово и целая эпоха жизни, наполненная всем понемногу, а больше всего собой, ослепленностью миром и его невероятностью. Каменные дома приглушенных цветов смыкались во дворы, напичканные кривобокими скамейками и веревками с потрепанным бельем. Подробности жизни, порой даже неприятные, интимные, в Вериных глазах приобретали сакральный смысл, потому что она впитывала в себя жизнь, не уставая. Войны и даже построение нового государства казались только проходящими.

Двадцатые годы, сменившись с голода на НЭП, дали Вере то, чего раньше она не чувствовала – ощущение свободы. Пусть грязноватой, недоделанной, но свободы в выборе отношений и слов. Это было бесценно после многих лет стеснения физического и мысленного. Раньше женщина могла быть свободна, лишь найдя понимающего мужа – почти неосуществимое желание. Вера не могла пренебречь тем, что теперь стала чем-то ценным не в переплете или на холсте. Внутренняя свобода сделала Веру безразличной сторонницей нового режима. Как истинная женщина, она примкнула к победителю.



## 2

– Ты постоянно или сгущаешь краски, или вовсе не замечаешь ничего кругом. В тебе нет единства.

– Ты сама говорила мне, что человек – это движение. Нет ничего хуже, чем засыхание суждений. А теперь обвиняешь в лицемерии.

– Наша беда в том, что...

– Мы себя ненавидим.

– ... мы слишком много воевали, – закончила Вера с досадой.

– Мы себя ненавидим... – с тоской повторил Матвей. – Нас учат ненавидеть собственную страну, вместо того чтобы помириться с ней, с ее культурой, сказать: "И наше было хорошо и их, то, что мы впитали". Европа тем и добилась успеха, что бесконечно ассимилировалась. А мы критикуем все – кто традиции, кто новаторов... Вместо того чтобы жить в гармонии.

– В гармонии жить нам скучно. Это не у нас же Раскольникову было все равно, что есть и на чем спать. Лишь бы была идея... у нас идея выше желудка.

– Ты мечтаешь о гармонии, а раньше ты прославлял войну.

– Прославлять ее может лишь тот, кто знает ее понаслышке. Мне так хочется чего-то нормального, обычного! Быто-

вого...

– Политика создана, чтобы стравливать людей, не имеющих на нее влияния. Тем не менее, я люблю жизнь, а это ее проявления.

Матвей тепло посмотрел на Веру.

– Это мне в тебе и нравится.

Вера прищурилась. Что больше всего в муже нравилось ей? Его тепло, особенный и верный, но часто и слишком радужный взгляд на окружающее, которому она привыкла верить, хоть и не прочь была вставить и свое колкое словцо, когда он совсем расхотелся и, имея довольно обширное мнение на любой злободневный предмет, чересчур бился о края. И продолжала верить несмотря на то, что столько раз он оказывался неправ – но кто вообще бывает прав хоть когда-нибудь?

Ее тело с таким блаженством откликалось на его. Но почему же он так надоедал ей, будучи донельзя необходимым?

Вера хмыкнула, вспомнив застарелую мысль, что Матвей готов сегодня смертным спором опровергать то, что вчера превозносил. Благополучно забыв о вчерашнем и будучи абсолютно честным.

– Мне кажется, почти ничего из того, что мы обсуждаем, не имеет настоящего значения, – лениво сказала она и села в конец длинной комнаты, разделенной ширмой.

– Даже развитые люди просто повторяют чьи-то мысли. И чувства, хотя для них и новые, но уже пережитые кем-то

тысячи раз.

– Но в том – то и дело, – хрипло проговорила Вера, – каждая жизнь все равно уникальна в комбинациях отрезков чувств и людей. В любом случае ты придешь к чему-то, что еще никто и никогда не чувствовал или не открывал.

Оба смолкли. Затем Вера, так часто скачущая в разговоре с темы на тему, спросила:

– Что ты получил на войне? Какие воспоминания?

Матвей помедлил, потом поморщился.

– Страх, сожаления о том, что я не дома. Тоску по близким. Не хочу вспоминать, меня будто иссушили. Наверное, я слишком привык к хорошей жизни. Я функционировал... Но это был уже и не я будто.

Вера вспомнила о волнующем моменте смерти его матери. Она все хотела спросить об этом, но каждый раз останавливала себя, считая это чудовищно бестактным. Странно, как за суетой дня мы забываем о ключевых событиях своего существования, которые куда важнее, чем пошив нового пальто взамен стершегося до подкладки. Затем она вспомнила о смерти матери своей... И тут же волевым прыжком изгнала эти непрошенные вспышки.

– А теперь я спать хочу, – сказала она быстро и с облегчением отвернулась к стене.

### 3

Порой, устав, Вера, окруженная людьми весь день, а вечером внимая непрерывной феерии Матвея, понимала, насколько искусственным кажется ей собственное существование. Насколько она не успевает осознать, что вообще существует автономно от того, что созерцает. И насколько ей просто не хватает остаться одной в уютной комнате со поднятыми шторами. Как прежде.

Даже в голод одиночества она исписывала страницы дневника, наполненные пылью и иссушенные временем. Затянутая блажь отвергнутой юности принималась ей за страдание и помогала почувствовать себя живой. И это приносило странную опустошающую удовлетворенность, словно жизнь, такая сложная и неулыбчивая, все же выполняла свою основную функцию. В войну же желания упростились

А Вера неизменно добивалась того, чтобы чувствовать себя живой, а не придуманной кем-то, преломленной через других и ими же рассеянной. Порой в сутолоке встреч, которые ей даже нравились, она вдруг понимала, как одинока. И как ей не хватает потока несмолкающих мыслей обо всем происходящем. Как не хватает тишины, всегда наполненной биением изнутри. Тем не менее Вера не умела быть несчастной, потому что где-то, на каком-то отрезке своего короткого еще пути, она поняла, что сам факт жизни – уже чудо, кото-

рое невозможно осмыслить и за сто лет, приплюснутых повседневной суетой. Она слышала о людях, которые не могли дотронуться до вожденной гармонии, внутри которых что-то было преломлено изначально. И Вера плакала – навзрыд и удивительно красиво, с упоением понимая, как приятно ей от каждого слова, прикосновения, от непостижимо-го, пьянящего факта, что она живет, видит, дышит. Что она по утрам ест печенья или картошку – в зависимости от того, сколько они с Матвеем добыли накануне. Что она здорова, а руки слушаются команды мозга. Что тело функционирует как должно, а крепкие ноги способны выдержать километры скитаний по городу Петра.

Вера все чаще думала, что с возрастом лишь будет сдавливать вокруг себя петлю тишины. С Матвеем они давали друг другу неограниченную свободу и при этом всегда приходили на помощь. Они не говорили друг другу о любви и не ждали романтики. Они могли творить все, что угодно, но никогда не врали друг другу. Они были, скорее, друзьями, которые проводили время в свое удовольствие и поддерживали друг друга, деля кров и заработок. Вера не закатывала истерики, Матвей не играл в домашнего тирана.

Матвей привнес в Верину жизнь задор, на все смотря легко. Именно в момент, когда Вера освободилась от невзаимности, она поняла, какой Матвей веселый и интересный собеседник. И как с ним легко. Она приходила и рассказывала, положив голову ему на плечо, о своих тревогах и соображе-

ниях. И он со своим извечным зарядом жизнелюбия гладил ее по голове. А потом они срывались в Москву на эксперименты Мейерхольда или потерянную Цветаеву.

Годы неуверенности в себе, пелены и мрака были закончены. Больше не нужно было с дрожью думать, каково это – в браке, опасаясь и сокровенно желая его. Жадно ловить какие-то недомолвки и многозначительные переглядывания старших подруг.

Вера пережила преломленные периоды отчаяния, что кто-то вломился в ее жизнь и пытается тянуться к ней грязными руками. Пытается влезть внутрь, ничего о ней не зная. Она ощетиливалась и пряталась подальше, вглубь себя, отвечая на пустые расспросы стиснув зубы и уходя от бессодержательных разговоров. Невыносимо били шорохи и крики за толстыми стенами, перегар и толкучка на кухне... Вера все чаще и Матвея просила быть тише и меньше говорить.

Спустя пару лет коммунальной пытки чета Федотовых осуществила давнюю мечту снять на лето дачу и убежать не только от соседей с сальными волосами и их вечно орущими детьми, но и от духоты города. В неспешность и утопию прошедших лет.

Матвей неплохо зарабатывал, будучи известным в определенных кругах. И Вере пару раз удалось пристроить в несколько изданий свои эссе о современном состоянии русской литературы. Учитывая повальное бегство или вынужденное молчание поистине великих, сделать это было непросто. Помогали верные акценты.

Хорошим тоном эпохи оказалось презирать деньги и даже, может быть, упиваться лишениями, избавляясь так от чувства вины перед остальными классами. Тем не менее, их образ жизни на фоне повальной нищеты мог бы пока-

заться даже шикарным – все базовое, что могло предоставить время, у них было. При этом не могло быть того, что в Европе уже доставал себе даже средний класс (пробиваясь сквозь косые взгляды, но все же) – противозачаточных средств и предметов женской гигиены. Вера выходила из положения дореволюционно и неудобно. Как всегда, за бытовую неустроенность женская половина страны расплатилась первой и сполна. По поводу же рождения детей она была спокойна, хоть иногда и испытывала грусть – Матвей из-за перенесенной в детстве инфекции иметь их не мог. Смотря на волшебство быта соседей с грудными детьми и их вечно орущих мамаш в хаосе недружественных черт, она вполне принимала свое настоящее.

Ехать в пригород по раздолбанным дорогам или скверно ходящими составами... Пробираться сквозь брошенные дворы, заселенные бродячими собаками... Чтобы добраться до спокойствия и вечеров, пропитанных смородиной. Чтобы прижаться к потрескавшимся деревянным стенам домов прошлого века, еще дрящимся своей особой, тонушей, жизнью.

В старом дачном доме, принадлежавшем когда-то, быть может, их знакомым, в глаза бросались крашеные потрескавшиеся рамы старых комнат. Грязь, копившуюся здесь десятилетиями, невозможно было окончательно вымести и вымыть. Какие-то жуткие жуки всех видов, застрявшие в стенах, плитусе, валяющиеся на подоконнике... Шторы из па-



утины коричневого цвета. Протекающая крыша и полопавшиеся рамы. И... свобода, раздолье! Небывалое богатство после душастых месяцев в городе.

На новоселье Вера и Матвей пели, проказничали, ссорились по пустякам и тут же помирились. Вера скакала по свободным от мещанского барахла комнатам и визжала в такт скрипучим половицам. Матвей заливисто смеялся под колченогое радио, из которого вместо классических концертов вырывался какой-то вой. Вера бросалась ему на спину и ездил на нем. Потом кидалась целовать. Через минуту уже бегала с тряпкой. И застывала у окна, завидев буйство листвы за ним.

– Нет никакого юношеского максимализма, – сказал Матвей своему улыбчивому другу Артуру. В отношении его он надолго усвоил подтрунивающий тон. – Это просто честность и нежелание мириться с несправедливостью. Те, кто говорит о максимализме, лицемеры, забывшие себя в нашем возрасте... Или никогда вообще не чувствующие.

– Тошнит от ноющих старикашек, – добавила Вера, фыркнув и рассмеявшись.

Артур смотрел на нее с явным удовольствием.

Они познакомились давно, но долгое время Вера считала Артура беспардонным и слишком навязчивым. Лишь недавно его умение слушать, терпимость, даже, наверное, чрезмерная, и ум, который он зачем-то прятал за злободневными выводами дня, сломили ее сопротивление.

Прежняя Верина оцепенелость без друзей и семьи сменилась какой-то истерией дружелюбия и доброты. Ей всем хотелось помочь, потому что она со всех сторон чувствовала к себе бережное и внимательное отношение. Вера начинала говорить и видела, как Артур оборачивается в ее сторону с улыбкой уважения. В прежние времена так смотрели на Полину, а Вера опасалась лишний раз произнести что-то, потому что не была уверена, понравятся ли им ее замечания.

Они заражались друг другом и временем. Презирать ма-

териальное они научились, а жить без него – нет. Оголтелые, отрицающие устои, они были друг для друга и для самих себя несмолкающим, незаживающим раздражителем, играя друг перед другом какофонию нелепых образов и мыслей. В основе этого сидели то ли скука, то ли желание возвысить себя многочисленными связями. Вера, раньше думающая, что подобное вовсе ей не близко, отлично играла свою роль. Она верила, что люди проходят в жизни много фаз и часто меняются, поэтому не считала, что притворяется.

Рожденные в сытых условиях, они взрослеть не хотели. Даже Матвей, повидавший больше Веры, не покончил с инфантилизмом. Он жалел об этом опыте – что-то отбилась у него прежнего, оторвало кусок. Вера постоянно говорила ему о том, что теряет куски себя. Она гипертрофировала свои чувства. Матвей, не настолько склонный к рефлексии, даже раздражался на нее за это несмотря на всю свою терпимость. Здесь он считал, что уж он-то имеет полное право говорить о собственных переменах. Но не делал этого. У всех кто-то пострадал от войны ненужной и войны междоусобной. Но падали на дно, по его мнению, лишь неблагодарные слабаки.

Разгул двадцатых врвался в жизни – все было можно, все дороги распахнуты. Печать исторической свободы коснулась и их – никто не в состоянии игнорировать свое время и окружение. Пронизывало в каждом сквозняке. Бешено цвела культура, впитывая все новое и доселе запретное – то,

что искусству больше всего и нужно. Чувство сродни ослепленности первым теплом после долгой петербургской зимы – так долго ожидаемое, водящее за нос. Все чудилось, что вот-вот пронзающая вьюга вновь влетит во входную дверь.

## 6

Вера понимала, что уже не влюблена в Матвея так, как во времена с Полиной. Из ее чувства исчез элемент ревности и несправедливости, она получила желаемое, а Полина канула в безызвестность. Матвей по-прежнему оставался отличным другом, любовником и собеседником, но истовое желание быть для него единственной, реализовавшись, унесло с собой элемент чуда. Невозможно было вновь упиться состоянием потерянности, ненужности, укрыться в одиночестве и спастись им. Какой-то частью себя Вера даже радовалась, что сестра исчезла – никто больше не давил на нее и не затмевал своим масштабом. Раньше с Полей она иногда даже покрывалась испариной, лишь бы не сделать что-то неправильно и не заслужить ехидно-снисходительный взгляд, так и сочащийся признанием ее ничтожности.

– Не важно, что он делает, – сказала Вера Артуру, когда Матвей, бледный, умчался к Маше в больницу. – Главное, что он думает.

Маша, дореволюционно тоненькая и болезненная, умерла от чахотки в тот же вечер. Вера боялась подходить к Матвею. Что было между ними, она наверняка не знала. Знала лишь, что он часто гостил в их доме, пока родные не решились поголовно эмигрировать, но не могли с настолько больной дочерью на руках. Вера для них была молчаливой женой весельчака Матвея. Чужачкой. Остались ли отношения между кузенами родственными или все же перешли через определенную грань, ни Вера, ни Артур сказать не могли. В любом случае Матвей, что бы он ни делал, никогда не переступал черту, за которой начиналась грязь. У него все выходило изящно.

Матвей жил нараспашку, но был скрытен. Вера ни разу не слышала о его сердечных привязанностях до Полины – а они, она понимала, были. Что-то в его нежелании открывать прошлое (возможно, и настоящее?) заставляло Веру чувствовать уважение к нему в противовес другим мужчинам, которые, не умея быть привязанными к одному человеку, еще и хвастаются этим. Легкомысленность Вера не переносила, она была для нее отражением духовной слепоты.

В тот вечер Веру было не остановить. Она говорила, говорила о себе, о своем мироощущении. В душе она навсегда осталась робеющей перед людьми вроде Артура – людьми, с легкостью заводящими новые связи. Открывали заскорузлую тоску по тому, что кто-то отлично проводит время без нее. Древнюю, как сама ее жизнь.

Артур выгодно отличался от прочих – она видела его незлобивость и умение слушать. Изредка он начинал критиковать кого-нибудь, но это не заходило слишком далеко. И Артур слушал ее, что было удивительно – Вера привыкла, что слушать умеет только она. Для того, чтобы изучить людей. Люди, их тайные желания, их стремления и мечты – вот что было основой, смыслом.

– Эта Маша... – сказала Вера неуверенно – как саднило ощущение, что кто-то может быть дороже для Матвея. – Она красавица?

– Я видел ее только пару раз.

– Что не мешает составить о ней суждение.

– Скорее, да, чем нет.

Вера опустила голову и потянулась к бутылке с вином, торчащей на вершине стола. Какое оно было теперь однообразное по сравнению с выбором прошлого!

Артур с недоумением смотрел на Веру – что ей было переживать, имея воздушную внешность, лишённую вульгарности? Сама открытость без намека на хитрость.

Когда-то давно, когда Матвей еще не вернулся к ней с

фронта, его на поезд провожала как раз эта Маша. Тогда они были еще совсем поверхностно знакомы. И Матвей, не теряя времени, попросил у нее томик Блока на память. Маша смутилась, спрятала ланьи глазки, но книгу отдала. Он с вымазанными облупленными страницами до сих пор лежал в его столе. Вера стиснула зубы – почему, почему он тогда женился на ней, смеющейся громче положенного, а не на своей хрупкой Маше? Наверное, и письма, которые она так отчаянно ждала от него, он отправлял Маше. Он столько раз говорил, что ценит Верину самостоятельность, что тогда тянуло его к кухне? Попросил констатацию надуманности он не у нее... Вера с каким-то некомфортным сожалением вспоминала, что видела этот усредненный портрет общих позывов в разгар гражданской, когда наиболее возвышенные девушки, не находящие в себе сил принять треснувший миропорядок, через обледенелый город плелись на поэтические вечера.

Вывернутое собственничество Веры не могло даже вообразить, что кто-то Матвею дороже нее. Она спокойно мирилась с физической неверностью, но духовную стерпеть не представляла возможным. А еще недавно она была так уверена в Матвее, потому что лучших собеседниц, чем они с Полей, он никогда бы не нашел. Она всегда была слишком разноплановой, чтобы поддаться изучению. Уж лучше бы до сих пор Матвей страдал по Поле... Она хотя бы заслуживала это!

После его возвращения Вера дерзила и подтрунивала над



Матвеем больше обычного. А он, задумчивый, ушел к себе. И Вера ужаснулась. А вдруг вновь, как после потери матери и брата, замкнется в себе, потому что воспитан в твердом убеждении, что негоже мужчине испытывать скорбь? И не станет ее заполненных вечеров.

Она спокойно смотрела, как он заигрывает с какой-нибудь надутой барышней – в этом не было угрозы для нее. Но не могла вынести, что кто-то может влиться в их летнюю идиллию и стать для мужчин такой же понимающей и остроумной, как она. А может быть, и более умной. Более жертвенной. Ведь как раз с жертвенностью у Веры были проблемы. Насмотревшись на мать, сестры Валеvские ужасались перспективе повторить ее путь, поэтому не мирились с чужим мнением.

Ревнивое желание влиться в чужой поразительный мир и стать там своей, признанной, любимой, овладело ей. И полнота этого чувства скрасила горечь откровения.

## 8

– Эти томные красавицы, легко заводящие романы, – сказала Вера с досадой, когда Матвей вяло простился и ушел к себе, – лишь образ, заложенность женщин, которые вынуждены делать то, что от них ждут.

Артур, удивленный отрешенной реакцией Веры на адюльтер мужа, ответил не сразу. В душе он ждал экспрессивного выяснения чувств и был разочарован. Но прилежно мотал на ус особенности взаимоотношений друзей, в тени которых с удовольствием поселился.

– Может, им самим хочется такой жизни, – безмятежно ляпнул Артур.

– Если они привыкли и не знают, что можно иначе, если никто не показал им дорогу, не обязательно, что они хотят, – озлобленно отозвалась Вера. – Про проституток тоже многие снисходительно отзываются, что те сами себе выбрали путь. Особенно когда их совращали отчимы, а матери продавали заезжим цыганам за кусок ткани.

Артур не знал, что сказать. Вера подумала, что Матвей бы сейчас насмешливо заявил бы ей, что она меряет всех по себе. А Артур молчал, прикасаясь к портсигару старого режима. Эта красивая вещь так не вязалась с обрубленностью настоящего...

– Почему тебя заботит, красавица она или нет?

Вера скривилась.

– Она не ты, и этого достаточно.

– Достаточно для чего? – быстро спросила Вера, желая скрыть польщенность прозвучавшими словами.

– Чтобы не переживать об этом.

– Но что если она лучше?

– Едва ли. Она не ты.

Сокровенная, магическая фраза, которая для женщины звучит слаще любой другой. Вера смягчилась. Ей вдруг показалось, что и Артур носит в себе синдром Цветаевой – чтобы человек принадлежал духовно или никак.

Вера, наконец, поняла, в чем сладость нравиться не кому-то одному – мнение о себе возрастало в геометрической прогрессии. Раньше она не признавала чью-то обураваемость страстями и потребность в кокетстве. А теперь поняла – не общество нуждается в человеке, а человек в обществе, чтобы образиться обманчивой иллюзией, что он на что-то годен. В новом же окружении мужчин она сама себе казалась донельзя притягательной, искрометной и возвышенной, умело балансируя на грани умеренной пошлости и невинности. Лестило сидящее во многих женщинах ее положение чувство отрады, что ее пустили в закрытый мужской клуб. Казаться одной из них и одновременно держать грань – искусство, которым Вера овладевала в одиночку, наблюдая.

«Я добра к людям, потому что считаю их ниже себя», – думала Вера, а потом пускалась в свистопляску социальной жизни, где блистала остроумием, красотой и востребованностью. Она играла себя и наслаждалась этим. Вера могла быть кем угодно в зависимости от погоды, окружающей среды и само настроения. Но порой ночами, пронизанными петербургской суетливой тишиной, улавливая вещи раздвоенным от бессонницы взглядом, Вера не могла понять, что происходит с ее жизнью. Впрочем, она не стала от этого несчастной. События вываливались из их осмысления.

Артур с его непрекращающимися историями умел окрасивать людей и происходящее с ними, он знал почти всех, кого нужно было знать. Тем удивительнее было то, что они не только поладили, но и нашли много общих тем. При одержимости компанией он был наблюдателен. Он словно был Верой – такой же зацикленной на окружающих людях, но преследовал при этом иные цели. Вера в людях копалась, ища ответы и новые откровения, Артур любил то, что люди создавали вокруг себя – истории их жизней. Вера, улавливая его интерпретацию себя, удивлялась, насколько она, оказывается, интересна. Но Вера не унывала – она была убеждена, что то, что легко достается, легко и уходит. А самое поразительное случилось именно наедине, когда никто не блокировал вырывающуюся душу энергии рядом.

– Я привыкла считать себя очень спокойной и даже скучной, – сказала Вера и подумала, что даже в момент запредельной откровенности оставляет нетронутой для постороннего взгляда огромную часть себя.

– Ничуть не бывало!

Вера помедлила с ответом. Самолюбие, которое напытивалось при общении с Артуром, спорило с необходимостью принять реальность. Окружающим часто не хватало воображения, они не желали видеть то, что требовало усилий и анализа. Они скакали по верхам и предпочитали очаровываться мимолетными ничего не обещающими улыбками. Куда ушла эпоха, где, еще не зная человека и руководствуясь лишь от-

зывами о нем, в него влюблялись?..

– У тебя редкий дар раскрашивать людей. Отражать их и в собственных глазах, делать интереснее, чем они есть. Но это не они настолько интересны. Просто ты так можешь.

Вера платила лишь откровенностью за откровенность, симпатией за симпатию.

Воспользовавшись его молчанием осмысления, Вера добавила то, что хотела сказать давно – важнейшее откровение последних месяцев.

– У нас есть одна, но важнейшая общая черта – мы умеем влюбляться в людей.

Артур ничего не ответил, только искательно улыбнулся, будто пытаясь осмыслить и принять ее слова.

– Это дар редкий, редчайший. Цветаевский. Большинство озабочено собой и видит в других лишь средство для себя или вовсе не понимает, что другие существуют отдельно от них.

Вера подняла голову, улыбаясь в отзвук его слов открыто и чуть прищунив глаза. Она была здесь, рядом, совсем простая, и Артуру было легко с ней. Она не кокетничала, не соблазняла, ничего не позволяла полувзглядами, чтобы потом пойти на попятную. Артур был нужен ей как собеседник, чтобы слегка разбавить тесную связь с Матвеем, услышать еще чье-то мнение.

– Я от них устала... – сказала Вера, жмурясь и вздыхая.

– От кого?

– От людей, гостей, всех этих знакомых Матвея и твоих... Удел хозяйки салона не мой. Слишком много впечатлений, обрывков фраз, книг, характеров в голове... Сора так много, что, кажется, он заваливает то, что раньше было кристальным. Жизни слишком много, я не успеваю за ней. Мне все чаще хочется отдохнуть от нее... Может, уйти куда-то и не вернуться. Я дошла до возраста, когда уже есть, что вспомнить. И это очень грустно.

– Все идет своим чередом.

– И порой от этого страшно... Тебе я могу сказать... Ты, может, единственный такой же, как я. Вот только ты умеешь ладить с людьми, а я предпочитаю обожать их на расстоянии. Жизнь некоторых людей кажется мне замечательной, а они недоступными, объятими смыслом. Может, не потому, что так и есть, а потому, что я так вижу их. Потому и предпринимаю слабые попытки сближения – рассеется иллюзия. Плюс я слишком горда, чтобы навязываться. Мне почему – то кажется очевидным, что люди понимают, что я от них хочу, хотя я не удосуживаюсь объяснять им. И паталогически боюсь отказа. А может, я лишь утешаю себя и дело во мне – я слишком неинтересна. Я столько читаю и слышу, но так много забываю... Ненавижу этот туман в голове!

Но Вера утаила от своего собеседника пикантную деталь – благодаря им она чувствовала себя неотразимой. Часто ее грызло сознание, что она любима лишь одним мужчиной. Один – данность, двое – уже власть. С ними она вытягивала

из себя грани, о которых раньше не подозревала и упивалась собой. Она могла быть какой угодно – мечтательной, дерзкой, странной, зная, что они не осудят ее.



Погожим летним днем, вырвав Матвея из полумрака кабинета, Вера и Артур вместе с ним отправились на Ладогу, кататься на лодках.

Промозглость прошлых летних недель сменилась изменчивым солнцем. Вера даже смогла позволить себе сарафан с открытыми коленями. Матвей, предварительно разразившийся тирадой о впустую потраченном времени, мигом забыл о своей занятости, заулыбался и принялся беззлобно подтрунивать над другом и щекотать жену. Вера, привыкнув к излишней толерантности Артура, с визгом отпрыгивала от Матвея и гоготала, не сдерживаясь от неприятных интонаций собственного голоса.

На пляже царили смех и молодость. Вера направила взгляд к горизонту, рассеиваемому водой, там и оставив его. Артур косился на девушек в небывало обтягивающих купальниках. Вера не видела столько полуобнаженных женских тел разом и смутилась. Она с любопытством посматривала на реакцию мужчин, которым так нравилось играть в новых себя, отринувших буржуазное ханжество.

Опускаясь обратно в суету дня, она различила приглушенные мужские голоса.

– Если бы это только было правдой, – рассмеялся Матвей почти ей в затылок на какое-то слитое бормотание Артура.

Вера обернулась, экстренно выдумывая остроуту, и увидела Ярослава, снисходительно смотрящего на Матвея. Артур по своему обыкновению много рассказывал о друге, но для Веры пазл не складывался.

– Ничего себе, – рассмеялась она, глядя на мальчика, которого ненавидела Полина. – Неужели Петербург настолько маленький?

Ярослав усмехнулся.

– Не подумал бы, что та самая Вера – это ты.

– Догадаться ведь было несложно, – улыбнулась Вера, пока Матвей недоуменно взирал на обоих.

Артур пришел в восторг от такого поворота.

– Я всегда говорил, что вся наша верхушка связана!

– С чего это ты взял, что мы верхушка? – рассмеялась Вера, не будучи уверенной, что рядом с утвержденностью Ярослава ей теперь позволено блистать.

– Верхушка наша в Парижах с Константинополями, – пробурчал Ярослав.

Семье Ярослава невесть какими тропами удалось не потерять то, что поголовно упускали остальные, изгнанные из родной страны и вынужденные жить в крохотных парижских квартирках. Отец его сделал блестящую карьеру в политике и тащил за собой сына, который не выражал особенного энтузиазма, но и не сопротивлялся.

Ярослав решил принять участие в соревнованиях по гребле, чтобы впечатлить одну из участвующих студенток. Это

Вера поняла благодаря считыванию полувызглядов.

Сама студентка не могла скрыть трепета перед Ярославом и с такой надеждой смотрела на него, что Вере стало неловко за нее. Стоит признать, что и сама она не могла отделаться от полузабытого восхищения стойким достоинством Ярослава. Это давно утерянное, казалось, чувство тлеющей кожи снова накатило из каких-то занесенных временем колодцев, не заметив некоторого фиглявства чрезмерно напомаженной прически. Вера старалась улыбаться, отвечать на вопросы и не выдать себя, но мысли ее путались и бились друг о друга в погоне за выходом из положения. Верин растворенный взгляд проходил мимо Ярослава, обманывая излишней сосредоточенностью.

Каким образом... неприятный приятель детства Полины, который бросался в нее снежками... Человек, познакомивший обеих сестер с Игорем... Старый знакомый, с которым у нее за столько лет так и не накопилось что-то видимо общее... Человек, бескорыстно помогший ей в страшные годы гражданской войны. Друг друга ее мужа к тому же... В том, как жизнь почему-то упорно сводила их, ее сердце, только оправившееся от безнадеги и нищеты, увидело едва не судьбу.

Культ здорового тела вокруг и всеобщее возбуждение навели Веру на странную мысль, что пестрота сексуальных отношений только на руку собравшимся вокруг мужчинам. Уж слишком все трое ликовали и блестяли в бликах Ладоги. В

основу своей тактики соблазна они ставили политграмоту и лозунг раскрепощения женщины, причем этот лестный подход нередко приносил успех. Снова активно в ход пошли стереотипы – теперь уже обратные. А половая и медицинская безграмотность довершали дело нечистоплотным трагизмом нежелательных беременностей и неожиданных заболеваний.

– Неплохие нынче пошли купальники, – звучно сказал Ярослав. – Помню, какое уродство доводилось женщинам носить раньше.

Артур одобрительно кивнул. Вера подождала, не заговорит ли кто-нибудь.

– Я в самый разгар революции вообще парад nudistов видела. Ничем не стесненное несовершенство.

Вера не покраснела. Ее всегда удивляло, почему будничное явление, заложенное в человеке издревле, уязвляет и подавляется.

– Ну будет, пора на воду, – Ярослав прошел мимо Веры и остановился от треска ткани.

Она потерянно посмотрела на разорванный кусок.

– Прости... Я куплю тебе новую.

Вера посмотрела на него с грустной иронией. Ох уж эти молодцы нового образца... Вера уже научилась понимать, что люди порой сильно отличаются от того, к чему она привыкла на примере себя.

– Это мамина юбка, – тихо сказала она.

– Не плачь. После заплыва пойдем есть пирожные, – вме-

шался Матвей.

Она не собиралась плакать, но и пирожные оказались недостаточно аппетитными по сравнению с тем, что происходило возле Ярослава. Артур, судя по всему, приклеится к нему, как и мещанского вида студенточка, имени которой Вера так и не запомнила. Они, может, даже прогуляются по берегу или – что еще хуже – укроются в лесу! Будут вести глубокомысленные беседы... Наблюдать за переливчатой, неистребимой силой Ярослава. Это Вера не могла стерпеть и пригласила обоих к ним на дачу.

Тоненькая, изящно облокотившаяся о стол, весело рассказывает что-то Матвею. И ее глаза, когда в них появлялся пленительный блеск ожидания и молчаливого призыва. Такой, оправившейся от беспомощности одиночества, Вера сама видела себя. Она не ощущала своего пола и удивлялась, когда кто-то обращал на это внимание.

Время безумств влияло и на Матвея, на то, что он себе позволял. На образ мышления и чувство границ – в эпоху двух мужей Лили Брик он вжился. Но всегда с чистой радостью возвращался к Вере. Необязательный брак без той напыщенной серьезности и лавины жертв, которых все от него ожидают. Матвей не испытывал склонности всему дать название. Вера обижалась не на его вторую жизнь, а на то, что он не всегда делился с ней сокровенным. Проникнуть в него было насущно. Только утверждаясь в том, что другие имеют сознание, Вера успокаивалась. Это не позволяло ей окончательно уйти в мир теней.

Порой им все надоедало. Они обвиняли друг друга в манипуляциях и не разговаривали днями. Но все возвращалось обратно. Естественность была главным, что проступало между ними. Они надрывно кричали друг на друга, а потом так же громко смеялись над собственной глупостью.

В тайном уголке сознания Веры отложился греющий

факт, что, где бы она ни плутала, как бы не разбивалась, она не останется в одиночестве. Это действительно помогало. При всей своей видимой беспечности Вера ревностно, почти маниакально следила за тем, кто вторгается в ее жизнь. Может, она слишком заигралась в подражание Полине. Так, что сама поверила. А, может, их безумное время, кишашее нововведениями, самоубийствами и исчезнувшими, о которых не хотелось думать, выточило ее себе под стать.

– Останешься сегодня? – голос Веры пропитался хриплой зазывной игривостью. Зачаровывали его цветочные напевы.

Она начала покусывать его шею, скрепила руки на талии.

– Пожалуй, – заинтригованной улыбкой отозвался Матвей, ощупывая ее глазами снизу-вверх.

Он никогда не вызывал у Веры отвращения или страха – блестящие волосы, кожа, теплая и пахнущая... Женщиной? Ребенком? Здоровьем? Излишняя мужественность отстраняла Веру, а женоподобность вызывала насмешку.

Наполненность любви. Заполненность. Заполоненность. Изгибы шеи и тихий блеск мерцающих волос. Античная чистота, не замаранная лишними акцентами косметики.

То, что происходило между ними, становилось ценным и прекрасным, особенно маринуясь в воспоминания. В процессе они были слишком оголтелы, слепы или бессильны, чтобы что-то понять толком, по-настоящему оценить или отринуть приблизившихся людей и события. Воспоминания же сдобривались идеализацией и становились чем-то третьим,

отвлеченным и не претендующим на объективность.

За годы брака они так и не дошли до черты, когда им было бы лучше порознь, чем вместе. Они ссорились – часто из-за претензий Веры, ее критики в его адрес – то или иное неизменно в Матвее казалось вопиющим. Но каждый вечер заканчивался одинаково – Вера просила укрыть ее одеялом. Если они были в ссоре, она засыпала с противным гудением на коже рук и спине. Ей невыносима, дика и неестественна была мысль, что Матвей может исчезнуть из ее жизни, что из-за каких-то внешних мелочных недостатков люди порой отказываются от того, что наполняет их существование нежностью. Она лишь хотела немного растормошить его, избавиться от периодически снисходящей на него аморфности. Видя его таким, Вера делала мелкие глупости в надежде, что он исправит их, положит на нее свои теплые ладони. А Матвей лишь лениво иронизировал в ответ. И Вера взрывалась.

Оголтелая, смелая, громогласная, в определенные моменты Вера без Матвея не могла даже выйти в мясную лавку.

– Ты не живешь, – сказал он в постели, елозя ногами по измявшимся простыням под навязчивый стук трамвая. – Ты играешь.

– То, что ты называешь жизнью – это только повседневность. О ней нечего беспокоиться.

– Маяковский звал Лилю Брик не женщиной, а исключением.

– Наверное, так говорили все по-настоящему любящие



мужчины, хоть это и было унижением женщин в целом. Ты можешь так сказать обо мне?

– Определенно.

Матвею часто не хватало этой легкости и простоты, когда не нужно долго говорить о том, что на душе. И он обретал ее с Верой, потому что она и так все видела, когда об одном человеке они, не сговариваясь, высказывали в итоге одни и те же наблюдения. В последнее время он все чаще относился к ней как к младшей непутевой сестре, которая всего боится. Вера могла выйти бороться с миром. Но забота, которой ее обезопасил Матвей, сделала жизнь привлекательно комфортной. А комфорт породил лень. Вера невольно повторяла путь своей матери. В детстве она была слишком застенчива, но переборола это, хотя испуганная маленькая девочка продолжала почти безмолвно существовать в ней. Ее ранили или выводили из равновесия чьи-то замечания о ней. Вера помнила собственное взросление сквозь застенчивость и неуклюжесть. Все нужно было проходить самой, в первый раз. Краснеть и казнить, что сделала что-то не то при милостивом молодом человеке, вызывающем у нее приступы паники.

За столько времени вместе они не всегда могли предугадать, что сказал бы другой в определенной ситуации. Они не упускали возможности начать спор с единственной целью противоречить друг другу и побочно открывать новые доселе скрытые аргументы. Вера часто была несправедлива, яз-

вительна, даже жестока до бесчувствия, но, стоило Матвею, замыкающемуся в себе в такие моменты, от чего она орала все громче, лишь бы он, наконец, сорвался на крик или насилие, дать понять, что Вера задела его, она словно приходила в себя. Впрочем, душа его стремилась к простоте, ведь слишком много надуманной сложности было вокруг.

Матвей имел редкое качество укрощать добротой и пониманием. Это порой не действовало на Веру, отходящую от стереотипов пола, но не всегда властную полностью перечеркнуть традиции, в которых ее вырастили – благодушие она порой принимала за слабость.

Ее тени провоцировали его быть более открытым и ответственным. Обоим периодически казалось, что нужно поберечь другого от досадного соприкосновения с реальностью. Все это было пустяками на фоне гармонии и совпадения. На фоне эмоциональной свободы, которую они получали друг от друга.

## 12

– Ты что, не знаешь этой истории? – спросил помрачневший Артур, даже понизив голос и приходя в восторг от возможности поговорить о своем кумире.

Вера покачала головой и затихла. Она привыкла, что его не надо долго упрашивать раскрыть чужие тайны.

– Она погибла на митинге.

Вера застыла. Ей привиделась утонченная молодая женщина, за которой было будущее... Трагически оборвавшееся. Веру подточила боль – то была ее сестра.

– Она... Ее...

– Ее задавили в толпе.

– Это было большим ударом для него?

– Было... Хотя у них были дикие отношения.

Вера прищурилась. Возможность приоткрыть завесу мажущей неизвестности в жизни Ярослава пьянила ее. Но Артур предательски замолчал.

– Они были помолвлены?

– Не думаю, что он вообще когда-нибудь женится.

– Слишком любит свободу?

– Не станет подчиняться...

Вера улыбнулась с невесомым отголоском иронии. Как же они до сих пор преступно юны... и как это восхитительно.

– Или идти на компромисс, – закончила она. – Хотя он

в чем-то прав – нет ничего безумнее, чем перспектива всю жизнь проторчать в одном доме с одним человеком. Вот зачем людям нужны дети – они не дают супругам остаться наедине.

Артур, удивленно смотря на довольную своей отповедью Веру, кивнул. Облик Ярослава постепенно начал проясняться перед Верой. Нелепости и переигрывания юношества, подаваемые с нарочитой, даже суровой серьезностью, не отвращали от него. Потому что они были родные, знакомые и слишком понятные.

– Перед тем, как она пошла на тот митинг, она едва не разбила ему голову дверью.

Вера опешила. Получалось необычно, что в устах Артура преображались люди и события, случающиеся с ними. Может, и она, Вера, чья жизнь ей самой казалась донельзя скрытой и даже скучной, в переработке Артура могла почудиться кому-нибудь особенной. Впрочем, едва ли кто-нибудь смог конкурировать с Ярославом в захлебывающемся тоне Артура. Даже когда Вера хотела забыть о его существовании, Артур не позволял сделать это. Ярослав словно всегда был с ними, даже когда находился черт знает где по своим занятиям, которым придавался пленяющий ореол значительности.

Матвей Федотов казался окружающим обволакивающе обаятельным, веселым и беззаботным. Это был редкий случай, когда общественное мнение оказалось справедливым.

Для Веры он начал обесцениваться лишь тем, что мягко был рядом со своим острым серым взглядом, ярким, даже каким-то обжигающим. Ей начало казаться, что задумываться могут только такие серьезные мужчины, как Ярослав, что они надежнее и умнее, потому что не улыбаются на каждом перекрестке. Ярослав казался цельнее, насыщеннее, из него брызгала надежность, пока Матвей лишь предавался увеселениям и попыткам состояться. С Матвеем было неизменно весело и по-хорошему непредсказуемо, но Вера видела в нем друга. Прекрасного, нежного и гонящегося за удовольствиями. Люди приходили, баламутили ее жизнь и растворялись. Все, кроме Матвея. Она знала, что он будет рядом, когда ей потребуется помощь, что всегда выслушает ее страхи и постарается развеять их. Знала, что сама не оставит его ни за какие блага. Но было это «но». С ними ничего не происходило – они стабильно жили своими переживаниями. Внешне не только спокойные, но и досаждающе обычные, скрывающие от всех свои ночные разговоры об истории человечества. Их жизнь не была похожа на непрекращающуюся карусель событий, они, скорее, молча созерцали вулканы про-

чих., на которые так щедро было их выскочившее время.

После того, как с ней обошлась Полина, Вера пыталась не привязываться к людям. Но одного разговора, затрагивающего опухоль посередине, хватало. Не влюбляться в людей не получалось.

Часто свободные вечера Вера, Матвей и Артур проводили вместе. С переменным успехом приглашался кто-то еще. И даже Ярослав, вечно занятой и недоступный, как-то навестил их.

– Мы были необычными тогда, а теперь мы такие же, как все, – уверенно чеканил Ярослав. – Нонконформизм стал повседневностью.

Артур смотрел на него, как пес на хозяина. У Веры несмотря на возбуждение от спора промелькнула мысль, что он выбирает друзей лучше себя. Вернее, тех, кого ставит выше без серьезных на то предпосылок. Удивительно было сравнивать их – мрачный Ярослав, неизменно становящийся центром в любой комнате, возбужденный Матвей, заливающийся откидывающим смехом на собственные шутки и Артур, словно ждущий от них позволения открыть рот.

Вера хмурила брови и саркастически косилась на Ярослава. Матвей, истовый любитель спорить, почему-то думал о своем.

– Неправда! – вскричала Вера. – Мы неординарны!

– В чем? Неужели образ мыслей гигантской страны переломится меньше чем за поколение?

– Теперь мы свободны. А человек податлив.

– Человек ленив и обрастает толстокожестью, как только ему выдается такая возможность.

– Зачем судить других, если не хочешь, чтобы тебя самого типизировали? Ты лучше всех что ли?

– А про себя будто бы ты так же не думаешь?

Вера мотнула головой. Думала, но... Она не желала людям зла и хотела только, чтобы и от них поступало меньше мглы. А что она думала про себя... другим не мешало. Ее мысли были текучи и изменчивы.

– И вообще. Среди моих друзей много студентов. Мест в общежитии на всех не хватает, они спят на полу вперемешку с крысами. И это в Петербурге. Про другие города и думать страшно.

– Не желаю продолжать разговор в таком пессимистическом ключе.

– Или просто не желаешь видеть правду?

Противоречить кому-то всегда было болезненным для Веры – она слишком пеклась о благополучии других. Но культ Ярослава среди мужчин самопроизвольно провоцировал ее ему противоречить. Он олицетворял господствующий класс всегда преуспевающих мужчин, захвативших управление жизнью после воронки чужих клыков.

– Откуда... С чего именно ты начал этот разговор? Все меняется к лучшему, как ни крути... В начале двадцатых я думала, что мне самой придется платить за учебу, потому

что я буржуй. Но обошлось. Люди слишком любят стенать о том, как все ужасно.

– Или восторгаться тому, чего нет.

– Люди так же норовят обвинять всех и каждого в обстоятельствах, в которые они оказались вовлечены, – добавил Матвей.

– Но и скрестить на брюшке ручки в угоду обстоятельствам тоже не дело, – отозвалась Вера.

– Со временем... Будто бы никто в итоге-то и не виноват, а порой хочется повеситься.

– Если ты рожден в нищете, то практически нет шанса, что ты когда-либо оттуда выберешься, – поспешно вмешался Матвей, нарочито неверно истолковав услышанное и будто опасаясь, что затронутая Ярославом тема переведет разговор в нежелательную плоскость.

Вера с какой-то тревогой глянула на Матвея. Ей показалось, что лица собравшихся стали тусклее.

– Я верю, что чувства поддаются корректировке. Если работаешь над собой, все по плечу. И то, что, казалось, разрывало тебя год назад, становится пшиком.

– Это все верно. Если только хочется работать и чего-то искать. А не бегать в опротивевшем колесе. Порой хочется быть дятлом каким-нибудь. Искать себе червяков, что-то создавать, а не думать о происходящем. Когда мысли эти просто обездвигивают, вытягивают жизнь.

Вера почувствовала в носу что-то противное, гниющее,



как при насморке. Вмиг истлел налет беззаботной летней жизни, в которую они так старательно играли.

Обжигающим глаза хлопком росли облака над стальной Невой. Смазанные, они сочились светом о каток воды в реке, солнце растворялось в горизонте.

– Ты все еще влюблен в Полину? Саднит, что она оставила тебя?

– Почему ты делаешь вид, что тебе не все равно? Наш брак для обоих – развлечение, веселость, средство от скуки, – подражая ей, едко заметил Матвей.

Но это не остановило, а лишь мрачно подзадорило Веру.

– Ты бы сейчас пошел за ней, если бы она вернулась.

– Поля привлекала меня как женщина и отталкивала как человек. Я пытался мириться с ее характером, но после первой обиды испытал облегчение. С тобой, мне казалось, будет легче сладить... Видимо, я недооценил твою упертость.

– Это ты теперь так говоришь. Выдаешь желаемое за действительное.

Матвей закатил глаза.

– Обычно женщину зовут упертой или пинают за ее невыносимый характер, если она не хочет всем угождать, и это вызывает у тех, кто привык к этому, злорадный ступор.

– Ты так увлеклась своими женскими правами, что начинаешь забывать о моих.

– Ты ими наделен от рождения.

– Снова эти песни...

– Тебе ли понять, – зло усмехнулась Вера.

Ее снова подтачивала пленительная обида, разрывала едва зарубцевавшуюся пленку болезненного самолюбия.

– Тебя увлекла игра искупления за ту ночь. И ты решил жениться...

– Что ты несешь?

– Наверное, я казалась тебе блеклой на фоне сестры...

– Господи, ты до сих пор выясняешь, кто победил и как?!

Зачем, Вера, зачем? Почему ты не можешь понять, что в жизни нет победителей, что мы все в чем-то потерпели поражение?! То, что казалось нам значительным, через пару лет рассыпается в прах, не говоря уже о смерти. Я даже не вспоминаю Полину, мне жаль ее жизни и все.

– Почему ты женился на мне? – спросила Вера, не слушая предшествующие разъяснения. Ее упрямство и полное безразличие к его словам – зачем тогда спрашивать? – выводили его, всегда такого терпеливого, из себя.

– Ты указала много причин и каждая из них по-своему верна. Но я никогда бы не остался с тобой, если бы ты была мне противна. Никто не связывает себя с человеком только из жалости или только по расчету. Тому множество причин. Мне уже поднадоело твое рытье даже там, где ничего нет.

– Ты бы предпочел жену-деревяшку.

– Ну вот опять, – с раздражением вздохнул Матвей, растягивая слова. – А нельзя ли просто жить спокойно? Думать

о внешнем... Многие без сожалений тратят на это жизнь.

– Это не про меня, – полушутя отозвалась Вера.

Ее с некоторых пор начало бесить, что с Матвеем почти невозможно было поссориться. Она оскорбляла его, но без прежнего эффекта – он либо замыкался в себе, либо отвечал ленивыми колкостями. Внушительных, фееричных скандалов, как прежде, между ними больше не случалось. А Вера по ним скучала. Скучала по накалу, по чувству оскорбленности, самозабвенным слезам, утешениям, слегка наигранным заверениям, какая она ужасная, некрасивая или глупая, в зависимости от настроения. Матвей же знал, что через пару часов она как ни в чем не бывало полезет к нему с нежностями и перестал реагировать на провокации.

Вера забивала его. Он стал спокойнее и даже ленивее, что побуждало ее еще на большую критику. Она ненавидела себя, но остановиться не могла – в Матвее ее стало раздражать слишком многое. Особенно то, что, занимая внушительный пост в редакции, дома он ни на что не претендовал и никак себя не проявлял. Зато планы его неизменно были наполеоновскими. Прежде так хотелось лететь за его фантазмагориями... а теперь колупала новая омерзительная мысль, что он и сам не знает, куда идти дальше. Не вышло переложить на него ответственность за общие ориентиры. И от понимания, что все они – вытряхнутые крошки очередного разделения пирога, становилось не по себе.

– Что дурного в том, чтобы думать о внешнем? Людям это

нравится больше, это легче, – опомнившись, Вера привычно успокоилась и перешла к Матвею-собеседнику, а не сопернику в тяжком противостоянии брака. – Нужны ли нам люди или это просто защита от общества, наши ходячие дневники? При этом читаем их как романы. А если люди в нашей жизни – всего лишь отражения, к чему они? Не будет этих – будут другие.

– Вот это моя Вера. Мне даже нечего добавить.

– Тебе просто лень думать.

Матвей тихо зарычал.

– А если любовь одна, то в чем разница между дружеской, физической и семейной? В степени окрашенности? В степени пут? – спросила Вера, не обращая внимания на его брыкания.

– Любовь – это когда людей вместе не держит ничего, кроме доброй воли. Крепкие союзы существуют лишь у духовных людей, умеющих уважать и ценить других, а не живущих исключительно своим эгоизмом.

– Мне ничего от тебя не нужно. Просто отдай мне свою душу.

– В этом вся ты.

– Не только. Я тоже умею отдавать.

– Когда тебе это удобно или не вредит.

Вера вошла в освещенную гостиную почти пушкинской дачи. Пахло закатом. На полу сидели Матвей, Ярослав и Артур. Сгущалась музыка из патефона в такт ее стоптанным каблукам.

В то время с опаской начинали возрождаться собрания прошлого – воскресающие поцарапанные бокалы, уцелевшие, не перешитые ткани, вино из самых глубоких погребов. Они бедности не чувствовали. Если легко относиться к проблеме, она становится ничтожно мала. Подвязанные веревкой подошвы и матерчатые туфельки на перепонке – кому какое дело, когда за окном такая зелень и буйно цветет молодость, еще не сглаженная тисками государства. Что им здесь и сейчас было до чужих шахматных партий? Прежде на войну шли из долга или по профессии...

– Он куда-то совсем ее забросил, – сказал Артур, знавший про их круг или немного, или все.

– Ну что, она создает быт – отличное занятие, – ответил Ярослав, пока Матвей что-то допивал и тянулся к газете. По сравнению с Ярославом он показался Вере совсем мальчишкой с этими его розовыми скулами.

Вера обратилась к спокойно курящему Ярославу прямым и немного летающим взглядом, беспардонную силу которого смягчала легкая припухлость ее щек и плавные линии теп-

лых волос. Она словно только что очнулась от векового сна, разбуженная ударом гонга, а не поцелуем.

Ярослав избегал рифм, увековеченных на бумаге. Это казалось ему прибежищем слабаков и женщин. Обычно женщины благоговели или кокетничали перед ним. Он, не задумываясь, воспринимал это как данность. Но чтобы женщина смотрела на него так, как теперь эта вечно смеющаяся девушка с серьезными жизненными принципами...

– Что же в этом хорошего? – спросила она.

– А что плохого? Каждому свое.

– Он либо закобалил женщину, у которой был потенциал, либо связал себя с односторонним человеком. И то и другое одинаково печально.

Ярослав посмотрел на нее, не улыбаясь. С ним не было легко, как с остальными, ставшими ее друзьями или мишенью для метких шуток. Вера даже уселась выигрышно для себя, вытянулась и начала говорить не своим голосом, снижая его тембр и тщательно выбирая выражения. Остальные как-то смолкли и не без удовольствия наблюдали за их перепалкой, особенно Матвей, которому самому часто попадало от жены в неконтролируемых спорах, когда в ход шли все средства от сарказма до легких пощечин.

Сегодня Вере не хотелось улыбаться и сглаживать, чтобы самой оставаться спокойной.

– Каждый сам себе выбирает, что делать. Никто никого не принуждает, – продолжал Ярослав спокойно.

– Неужели. Прекрасная фраза от человека, родился не рабом.

– Начинается... – протянул Матвей рядом с Артуром.

– Да ладно вам... Вы помешаны на свободе, потому что у мужчин она всегда была от рождения, но при этом как раз преклоняетесь не перед хранительницами очага, а перед женщинами, сметающими стены. Внешне вы клеймите их почем зря, но втайне недоумеваете, что это вообще такое и каким образом обыкновенная забитая женщина взобралась на вершину... Преодолевая мнение каждого плешивого критика. Вам не интересно быть с женщиной, которая сидит дома и целый день лепит пельмени. Вы делаете вид, что таков ваш идеал, что такова история, но на самом деле вы ждете женщину, которая придет и встряхнет вас.

– Ты хочешь сказать, что мужчина и женщина должны бороться?

– Все люди должны бороться. И с собой, и с другими, – выдала воодушевленная Вера. Давно у нее не возникало таких приливов энергии. – Противоборство и вас вдохновляет.

– Я не знаю, как оно вдохновляет тебя, но мне дома хочется отдохнуть, – отозвался Ярослав.

– Так станет скучно через неделю. Я часто обращала внимание, что только никчемные и вообще смешные мужчины требуют от своих жен послушания. Наше послушание было вам залогом вашей абсолютной власти и давало обманчивую уверенность, что вы можете быть хозяевами, не прибегая к



усилиям со своей стороны. А это ой как удобно.

Вера победоносно повела бровью. Мужчины, даже становясь друзьями, так и остались для нее неразгаданными и опасными существами. Их нужно было разгадать и приручить для собственной безопасности.

– Как ни странно, – сказал Ярослав, – но твоя тарабарщина имеет зачатки здравого смысла.

– Я и не рассчитывала на более лестную похвалу от такого строгого критика.

В ярости попытки справедливости Вера разошлась и начала испытывать упоение собственной силой. Она стала такой, какой видел ее Артур.

– Мы боролись о борьбе, – рассмеялась Вера.

Матвея охватило восторженное возбуждение от ее бойкого и точного ответа.

– Скорее, упрямылись об упрямстве, – вставил он, блаженно улыбаясь и елозя ладонью по полу.

Артур только переводил глаза с одного на другую, к собственной радости почти не чувствуя такой изученный страх страшющего одиночества. Такой болтливый наедине с ней, он мигом замыкался, стоило Вере завести серьезный разговор с кем-то другим, сдавшись без единого слова несогласия.

Матвей, знавший, сколько раз Вера, плача от неуверенности и страха, просила его сделать что-то за нее, тактично молчал перед этим неожиданным бенефисом жены.

В то лето гости думали, что Матвей немного под каблу-

ком у Веры. Но лишь эти двое – странная, заговоренная пара с чудовищными вариациями отношений и взаимных притираний, знали, как она нуждалась в нем и как была не уверена в жизни без него. С Матвеем она была легка, с радостью пошла и вообще вела себя без всякой натуги. Внешне она пережила то, что случилось с родителями, сестрой и их совместным прошлым, но лишь Матвей видел ее ночные слезы усталости и скорби. Порой Вера вообще не воспринимала его как отдельного человека, он был чем-то вроде бесплотных образов, существующих в ее голове с незапамятных времен, поэтому по отношению к Матвею у нее вовсе не существовало границ дозволенного. Она уже не помнила жизни без него и не способна была ее вести. Вся ее любовь к одиночеству разбивалась о неспособность тянуть быт, делать его основой своего существования.

Верин смех пропитал гостиную в такт скрывающемуся и холодеющему солнцу. Она смеялась облегчению, что игра, которую она затеяла, кончилась удачно и никто не обижен. Раньше она спорила в основном с женщинами – Полиной и гимназистками, и те обижались ежеминутно. Она чувствовала себя как на минном поле. Постепенно Вера привыкла, что само ее существование уже кому-то неуютно, и с возрастом стала спокойнее – окружающие никогда не были удовлетворены до конца и вечно о чем-то бурчали.

Она ошиблась. Двое из трех оскорбились неприкрытой критикой их коалиции, но Ярослав не решился идти против

хозяев дома, а Артур боялся лезть в конфликты. Возможно, поначалу они и хотели увидеть Веру беззащитной девочкой, украшающей их мужские вечера и подающей печенье к чаю. Но что-то в самой ее сути, в устойчивости зрачков отвращало от этого заблуждения.

Часто возникающих за пределами гостеприимных стен женщин мужчины этого лета не приводили с собой то ли из опасения, что те недостаточно хороши, то ли в убеждении, что одна женщина не вытерпит другую, хотя это совершенно не отвечало Верину характеру. А, учитывая обаяние Матвея и мрачную притягательность Ярослава, каждый вполне мог опасаться еще и конкуренции.

– Разговоры о «женщинах» и «мужчинах» сводятся к комментарию о каком-то человеке определенного пола, которого вы притянули сами и который играл в вашей жизни значительную роль и чем-то обидел. Это не претензия на объективность.

– Да брось. Градаций и делений людей может быть великое множество. И никакое не будет полностью верным, – парировал Матвей в своей излюбленной манере всезнающего философа.

– Я это прекрасно понимаю, – отозвалась Вера с раздражением. – Но сейчас именно такое настроение, и я верю в то, что говорю.

– Верить мало. Фанатики тоже верят.

Вера стиснула зубы. Все, что говорила Вера, подразумевало одобрение... Ее собственное одобрение себя. Захотелось отвесить Матвею привычную затрещину. Но устраивать сце-

ну при Ярославе не хотелось. Одновременно она хотела быть и недоступной жрицей, и своим парнем, который понимает собравшихся с полуслова. Вера постоянно ощущала на себе взгляд Ярослава, даже если его не было, и старалась вести себя так, чтобы он был о ней исключительного мнения.

Тут же она решила, что они с мужем, несомненно, друг другу наскучили, начались эти нежелания слушать приевшиеся мысли... Невыносимым показалось бремя быть запертой в человеческом теле.

Вера не хотела видеть сложности мужа, а признавала только свою.

Прошло совсем мало времени с тех пор, как Вера думала, что жизнь уже не вернется ей прежними красками. И вот, сидя на балконе и ежась от наползающей из глуби сада прохлады, подбирающейся неслышно во влажном мягком воздухе, пока закат впитывался в сумерки, она поняла, что, наконец, прошла какую-то невидимую преграду и стала гораздо довольнее, чем была раньше. Сад, солнечный свет и отсутствие посторонних шумов удивительной чистотой провоцировали ее на ворох мыслей, прятных по-прежнему.

Периодически Вера словно возрождалась, как листва весной. И тогда просто сочилась эмоциями. Это и происходило теперь.

Сейчас Вера чувствовала не только засасывающую любовь ко всему, что видела. Она ощущала гармонию. Она, наконец, примирилась с миром и с собой. Для этого ей не понадобилось почти ничего, кроме размышлений. Она поняла, что люди испытывают дурные эмоции не потому, что это неизбежно, а потому, что такова их вечно недовольная суть. Прежде на чьи-то жалобы она задумывалась и расстраивалась. Теперь фыркала.

Вера верила, что проблемы тел и быта не должны затрагивать душу, поскольку их слишком много, а жизнь слишком коротка и слишком иллюзорна, чтобы относиться к камням

на своем пути с полной серьезностью. Все вокруг нее были просто одержимы переустройством общества, как будто это могло иметь отношение к духовному здоровью. Вера в последнее время балансировала между страшашей догадкой о бессмысленности жизни и убеждением, что все происходит не зря. И даже это, ее собственные мысли, которые раньше так часто были откровением и поражали ее, не вызывали у нее восторга, поскольку многие до нее говорили что-то подобное.

Благодаря Матвею Вера стала общительнее, веселее и по-хорошему спокойнее от уверенности в своем браке. Но ее тянуло в трясину слов и действий, в драму Белого, Блока и Любви Дмитриевны. А она всегда чтילה внутренние ощущения, видя в этом кратчайший путь к счастью. Новое и захватывающее чувство от появления Ярослава поминутно разбивались сожалениями о том, что все не может быть как прежде.

Матвей был замечательным или никчемным в зависимости от перепадов ее настроения. Он был умницей, увлеченный социальной жизнью, но мог в неистовстве валяться по полу, смеясь и строя гримасы. Ему не удалось заостенеть от собственного статуса и возраста.

Дождь притушил пыль, осевшую на темных набитых водой листьях. Смеркалось. Размывалось перед глазами. После скитаний по пенах крон Вера стояла на краю оврага, где заканчивался их участок. Она смотрела на цветы, пухнувшие за оградой на соседской земле. И на темно-фиолетовые ирисы, в смерти ставшие совсем черными, едва заметными. Тлеющими на синем паре травы размытыми пятнами. Она упивалась чувством убаюкивающего спокойствия и ветром собственных шагов.

Она могла быть какой угодно в зависимости от степени доверия к окружающей компании. В одиночестве же у нее не было характера, он отпадал как нечто второстепенное. Растворенное наслаждение... Можно было не тратить силы на то, чтобы собрать себя воедино, выдрессировано реагировать на какие-то слова или поступки. Поэтому можно было в блаженном молчании пустить разум гулять по вершинам елей. Мысли возникали из несвязного потока образов и слов, из непонятного и потрясающего наваждения.

Тут она заметила неподалеку Ярослава, приближающегося к ней.

– Уже ночь, а тебя дома нет.

Вера хотела взбрыкнуть, но молчала.

Ярослав молчал. Засмотрелся на ее шею, оголяемую вет-



ром. Воззрится на шею, испытывая умиление, словно тошнотворный романтический герой из книг, которые и не пытался читать. Нельзя сказать, чтобы Ярослав расценивал женщин как сырье, но и непревзойденных иллюзий на их счет тоже не строил.

Вера млела от возрождения ощущений, открытых еще в подростковом возрасте. От стихающих сумерек, постепенно поддающихся ночи. От свистопляски запахов – пряных, свежих, ненавязчивых. От ели, которая за десятками домов, где-то там, почти на краю света, шелестела своими ветвями только для нее. Как этого не хватало в суеде и серости большого города! Бежала она в сумерках по этому полю сквозь запах. Ярославу тоже показалось, что вокруг расплывается волшебство. Странно – между ними не было никакой связи кроме нескольких знакомых и пары переброшенных фраз... Да кроме той пары дней, в разгар гражданской, когда она цеплялась за него как за якорь, а он втайне гордился собой. Он был неплохого мнения о ней, она, наверное, о нем... И только. Он вышел курить и увидел вдали маленький силуэт в розовой юбке. Что дернуло его пойти навстречу?

– Знаешь, мне уже становится не по себе в этой темноте.

– Тебе холодно?

– Не холод страшен.

Осенний август уже прятался в затемненных участках парков, в чуть желтеющих без видимых причин листьях. Август был страшен этим. Осень надвигалась неотступно, она

преследовала своей полной и окончательной неотвратимостью, своей дождливой безжалостностью. Войти в осень, не хлебнув по-настоящему лета, пропустив его в вечной занятости – это трагедия всего года.

– Дальше будет лучше, – Вере показалось, что она едва ли не впервые увидела его ухмылку.

Что сделало его таким колючим и яростно доказывающим миру собственную шаблонную мужественность? Может, он просто был таков с самого основания?

Дымка отмирания листвы, так характерная для севера, еще не поглотила весь сад. В тишине к смытому закату томно неслись ляпы облаков. Остаточный свет солнца был настолько прозрачным, что бил по глазам. И все же оставался недостижимым.

– Пойдем в дом, уже поздно, – его темный голос бархатом прикоснулся к ее ушам.

Особенное чувство вовлеченности охватило их наедине в сумерках. Лучшее, что может произойти с двумя людьми – это момент наедине, когда что-то раскрывается, сначала чуть-чуть, затем стремительно. И оставляет двоих предельно беспомощными, но довольными. Беспомощными перед лавиной откровенности, за которой, возможно, наступит разочарование или даже расплата.

Пленительное наслаждение заходить в остывающий к ночи дом после плеяды сумерек и чувствовать, как отпускает досаждающее чувство на коже и отваливаются присосавши-

еся к ней комары. Включать талый свет, плещущий янтарем вокруг...

Вера все чаще чувствовала в себе неисчерпаемые силы любить. Они разрастались где-то посередине груди. Однако, одержимость Ярославом не мешала ей любить мир вокруг и наслаждаться им. Вера понимала, что ее помешательство им смертно.

Веру охватила сладкая пытка существовать рядом, боясь выдать себя. Больше всего желая дотронуться – плаваясь изнутри от нереализованных прикосновений, от поразительной силы желания объятий. Ее удручало, что об этом, в отличие от всего остального, что пронизывало их жизнь, она говорить не могла. И все же происходящее было прекрасно своей наполненностью.

Утром она встанет, радуясь каникулам, вдохнет лучший на свете деревенский воздух. Сядет на неуклюжий велосипед, молниеносно спускающий кривые шины. И весь день в ней будет досадливо саднить вопрос, увидит ли она вечером Ярослава. А даже если увидит, будут какие-то замалчивания, недоразумения и снова неудовлетворенность. Даже его нахождение рядом окажется недостаточным и не сможет вылечить ее полустертыми разговорами.

Веру больше всего манил его неизведанный романтический мир, к которому она никогда не принадлежала. Мир, о котором так много распространялся Артур, не понимая, что наружу вытравляет Вериных бесов. Мир шумных вечеров и

множества знакомств, ей недоступный в силу ее же склада. Наверное, у каждого есть этот недостижимый идеал, которой он не может получить и который ему по сути не нужен.

Артур почему-то разрушал их сцепленность, не делая ничего плохого. Он, сам того не желая, выполнял роль своеобразного Мефистофеля, раззадоривая в Вере тщеславие своей глубокой неуверенностью в себе. Начавшись как безобидный друг слегка в тени снисходительного к нему Матвея, он вырос до подшучиваний над ним. С удовольствием обсуждая чужие жизни, он стойко молчал о своей. Чувство его понятности донельзя обманывало.

Последним биением лета вошло невыносимое солнце, ошпаривающее каменные улицы, шкрябающее по лицу своими беспощадными пальцами. Такое редко раскаленное для Северной Пальмиры светило. Поразительно сменяющееся тусклой водой севера неба на рассвете и ледяными, почти зеленоватыми облаками.

Верин силуэт выдавался в глубине коридора.

– Красивое платье, – сказал Ярослав тихо и глухо, как всегда позволял ему его низкий голос.

Вера улыбнулась несмотря на мощный прилив чего-то томного и просящегося наружу. Она повернулась к нему и слегка повела бровью.

– Я всегда думала, что мужчины не обращают внимания на детали женского туалета.

– Ты требуешь от мужчин объективного восприятия женщин. И при этом стереотипами же травишь нас.

Поперек Веры что-то стало. То, что они были наедине так близко, давило, сковывало движения. При этом взволнованная радость бросалась в щеки.

– Ты правда думала, что мужчина может спокойно смотреть на красивую женщину?

Вера вылупила глаза, но это проглотила темнота. Она действительно так думала. В ее представлении всегда сначала

возникала симпатия, а потом уже как довесок шло желание.

– Неужели не может?

– Может быть... Не знаю.

– Зачем тогда говорить?

– Люди говорят многое.

– Особенно то, что не нужно.

– Не нужно?

Вера почувствовала в его словах желанный подтекст, но опасалась ошибиться и поставить себя в уязвимое положение.

– Почему ты так упрощаешь мужчин?

– А почему ты их романтизируешь? Ты думаешь, эта чушь, написанная в прошлом веке, отражает нашу суть? Она написана для женщин.

– Но она написана вами.

– Редкими мечтателями.

– Значит это все же зависит не от пола.

– Никогда не понимал этого твоего качества, – с досадным вздохом отозвался Ярослав, поднимая вверх подбородок. – Что бы ты не взялась обсуждать, выйдет философия. Как насчет того, чтобы просто пожить?

– Это не интересно.

Вера была взволнована тем, что он вообще имеет о ней какое-то суждение. Она часто ощущала себя в глазах других невидимкой, пока они не доказывали обратное.

Она специально тщательно одевалась в тот вечер. Совсем

как в прежние времена, только без деталей, которых просто не было в шкапулках и комодах. На заработанные статьей о летнем детском лагере деньги она купила себе легкий сатин и сшила платье своими руками – благо, в гимназии этому обучали. А она тогда смеялась над патриархальными замашками руководства, вторя Поле... Мастерские по пошиву одежды были ей не по карману теперь, особенно с этим снятым дачным домиком. Раньше Вера смеялась над буржуазной потребностью превратить даже обеспеченных женщин в прислугу, но теперь именно это послужило ей – в прислугу женщин охотнее превращала бедность. Платье было не из скатерти и не старьем с плеча какой-нибудь низложенной княжны, оно было новым – такая роскошь осталась почти недосыгаема. И Вера чувствовала себя в нем не меньше, чем царицей Савской, демонстрирующей богатство своей страны своему равному Соломону.

Вера встала лицом к зеркалу и вместе со своей обнаженной спиной, облитой красным материалом, увидела повторение Ярослава вместе со своим. Она не могла избавиться от ощущения, что обязана Ярославу. И никак не могла отплатить ему, чтобы развязать этот изматывающий узел привязанности.

Почему-то смотреть на отражение Ярослава было не так страшно, как на него в упор. Она вызывающе ощупывала его без всякого страха, и он от удивления растерялся. В тот момент оба смутно распознали, что равны в сформированности

и эгоизме, и это существенно усложнит дело. Она не привыкла лицемерить. И сдерживать себя ей надоело. Это вообще не принято было у них в то лето – они вдоволь кричали, размахивали руками и не сковывали себя особенно жестокими нормами. После прилизанного царского детства это казалось свежим глотком.

Вера даже отсюда чувствовала его пьянящий запах. Она хотела закричать на него, сорваться с места и исчезнуть, никогда больше не видя никого из них... Или хотела, наконец, прикоснуться к этому выточенному лицу, сзади обнять живот и почувствовать напор тела сильнее ее. Но она никак не попадала на вакантное место в его душе. Может, он опасался Матвея, на что Вера недоумевала – ведь все они дружно издевались над царским консерватизмом и мнимой добродетелью. Это, пожалуй, было единственным, что по-настоящему их объединяло.

Она попросилась и пошла наверх, пройдя совсем рядом, будто знала, как кипит его кровь при мысли о ее спине, не стесненной тканью. Представляя, как после он стоит, опершись ладонями о стену, она испытала удовлетворение, почти злорадное чувство сытости, хотя повсеместно ее преследовала как раз какая-то апельсиновая жажда.



Следующий вечер разбил ее метания – Матвей, бродящий по даче как сомнамбула и даже не пытающийся разогнуться с утра, но уже начинающий громко и излишне говорить, на ее осторожные расспросы, кто у них будет сегодня, охотно сообщил, что никого. Потому что Ярослав и компания отбыли на Ладожское озеро рыбачить. Звали и его, но он что-то не в духе.

Вера была взбешена. Не столько крахом любовных предчувствий – это бы она перетерпела. Но то, что ей пренебрегли, предпочтя скучнейшую мужскую компанию, было невыносимо.

Она спокойно слушала о его успехах, его женщинах. Она лишь хотела получить доказательства своей власти над ним или хотя бы восхищение, на которое он был так скуп.

Это было что-то иное, более отчаянное, чем нереализованная страсть, более упрямое, чем невозможность получить. Злое и голое чувство досады на то, что он не считал ее лучшей. Раньше иллюзии поддерживала слабая догадка, что Ярослав не приближается к ней из-за Матвея. Теперь она поняла, что ее воздушные замки в очередной раз потерпели катастрофу. Он, как и все остальные люди, находил остальных взаимозаменяемыми. Искусство вралю – оно говорило, что люди не могут забыть, не могут заменить одних другими

и страдают от этого. Вера же видела, что, не получив одну, мужчина спокойно забирает другую. И сознание этого было мучительно, оно не оставляло простора для превозношения себя, оно вновь загнало ее в тень самой себя после того как подарило вспышку восхищения Артура и своеобразную преданность Матвея.

События последних недель столько заставляли ее молчать, особенно когда хотелось с кем-то поделиться, столько раз открывали поток ее озлобленности Матвеем, который не был виноват в ее одержимости, что Ярослав, подлинный, хоть и невольный виновник ее состояния, должен был, по Вериной странной логике, поздороваться с ней и дать ей посмотреть на себя хотя бы пару минут. Вера знала, что это станет предметом воспоминаний и пережевываний вечером того же дня, но столько раз сама сторонилась Ярослава, что начала даже упускать его настоящего. Этого она больше не могла пережить. Она видела, что упускает что-то насущное в этот период жизни и решила даже ценой собственного спокойствия добиться полноты.

На протяжении стольких дней она думала о нем почти ежеминутно, балуя себя кофе с пирожными, но не бросая, как дореволюционные барышни, лукавых взглядов из-под бархатной шляпки. Или читая мемуары деятелей прошлого. Он жил в ней как заноза, которой она вовсе не жаждала, но которая постоянно напоминала о себе благодаря их общему кругу. И это надоедало. Вера всегда была слишком самолю-

быва, чтобы влюбленности доставляли ей боль, но это не излечивало ее от сжигающего желания оказаться с ним в одном гостиничном номере. Она в большей или меньшей степени нравилась всем мужчинам, переступающим порог их дома – пусть даже они просто повиновались общему правилу быть с ней милыми. Один Ярослав оставался молчалив и серьезен. Избалованная вниманием, Вера негодовала. Ей была нестерпима мысль, что с ней, такой восхитительной, кто-то не желает знаться. Она снова стала самой собой – неуверенной гимназисткой, топящей себя в неосуществимых мечтах и толком ничего не понимающей ни в себе, ни в окружающих. И сама же решила на объяснение – время и авторитет Полины, о которой она не забывала, сделали свое. Она забавно переходила от сознания своего полнейшего бессилия к убеждению, что нет человека, неспособного влюбиться в нее, если она захочет.

Когда Ярослав благополучно вернулся, она появилась на крыльце с бокалом вина в ухоженной ладони, как никогда элегантная и веселая. Как обычно от встреч с ним, ее передернуло каким-то сладковатым током. Но на поверхности от нее так и било какое-то непреодолимое сияние, она шутила без умолку, смеялась своему смеху. Чуть подбавив в этот коктейль отстраненности, Вера грациозно выгибала шею. Несмотря на то, что в его присутствии ее словно пронзали разряды разной мощности. А Матвей был таким близким и понятным с его милой улыбкой, что давно не требовал этого. Вера поймала себя на мысли, что вообще не воспринимает его как отдельную сущность, как человека, которого необходимо изучить, разложить на составляющие. Вера говорила со всеми, кроме Ярослава. И лишь его реплики оставляли ее равнодушной. Вера вспомнила стародавнюю аксиому, что чем более уверена в себе женщина, тем больше влюбляются в нее.

Так часто они, набившись в напичканную табачным дымом гостиную и сидя на коврах или ручках кресел, юморили, пошлили, ели, пили, смеялись в угаре собственного обаяния. Возрождалась былая опьяненность людьми, их лицами, идеями, смехом. Вера чувствовала себя с Артуром и Матвеем нужной, любимой, одобряемой, веселой... Такой, какой от-

чаянно хотела быть амбициозная молодая женщина двадцатого века, взхлеб пьющая жизнь и удивляющаяся ей. Впервые она чувствовала себя женщиной в полном смысле – океаном, скрытым под кожей. Ощущение собственной значительности от стремительных и душевных разговоров пьянило ее.

Много говорили о политике. Вера потешалась над извечными разглагольствованиями мужчин о светлых временах. Матвей мог поменять мнение за день и после восхваления Сталина бухтеть об ужасе становления его культа. Вере от этого становилось предельно скучно.

Она переводила разговор на незавидную участь искусства, сворачивающегося от подлинных новаторов к социальному реализму. Невзирая на одобрение раскрепощения, Вера любила почитать "старье" и посмеивалась над плеядой течений, возникающих и распадающихся за неделю. Всеобщая истерия новизны в искусстве не была ей близка – она чувствовала ее искусственность, а искусство по ее непоколебимому убеждению сквозило чистой искренностью. Она не верила в злободневность искусства – чистейшего производного души.

Ярослав снова был непринужденен с ней и говорил в основном об эмигрантах. Это раздражало Веру все больше, потому что она понимала корень его поведения – он считал себя слишком мужественным, чтобы поступить непорядочно с хозяином дома. Вопреки обычной своей убежденности, что все дуалистично, это Вера чувствовала определенно. Она до-

шла до опасного возраста убежденности, что все знает лучше других и все может трактовать.

Заскучав от однообразных разговоров двух небезразличных ей мужчин, Вера, мучимая раздражением и обидой, резко встала и с лицом, не терпящим возражений, вышла на кухню. Она никогда не обслуживала мужчин, но сегодня особенное чувство ностальгии и желания кусочка роскоши после облупленных лет в коммуналке затмило принципы. Фарфоровый сервиз – приданое матери – напоминал о неспешных годах, когда они, вымытые и благоухающие, сидели на террасе своей усадьбы и, взирая на медленное окрашивание облаков ниспадающим светилом, отхлебывали травяной чай из невесомых чашек. Яркие, непрошенные видения, травящие сожалением... Как очарованная, она подняла взгляд на перепутье спускающихся на пригород сумерек. Тех, тянущих и трескучих, преследующих русских по полгода и заставляющих так много и долго грустить.

– Я пойду, – услышала Вера голос Ярослава, от которого так часто ей становилось душно.

– Уже?

– Не буду долго пользоваться гостеприимством хозяйки.

Она повернулась к нему со снисходительной усмешкой.

– Доброй ночи.

По его лицу сложно было что-то прочесть, но он помедлил, прежде чем уйти.

Принужденные шаги за ее спиной стихли. Вдруг она по-

вернулась и побежала за ним. В окно Вера видела, как Ярослав садится в машину, пронизывая уверенным эротизмом каждый свой жест и почти осязаемо передавая по воздуху свой гипноз. Его стойкая уверенность в себе при впечатляющей внешности, не нуждающаяся в дополнительной демонстрации, подкашивала ей ноги.

– Как можно быть таким слепым? – прошептала Вера, оперевшись лбом о дверь.

Ушел... Как она – посреди веселья, потому что ей так часто было грустно в стихии Матвея или неконтролируемом потоке слов Артура.

Ярко пахло подсушенными на солнце яблоками и травой, уже по-осеннему будто скукожившейся, а на деле выжженной августовским пеклом. Умирание лета палило траву, тронутую рыжиной предыстории осени. Рецепторы окрашивались этим вкусом, запахом, их смесью и производными. Авдали петляла дорога, оваянная тусклым хлопковым светом; мерно нарастая, глухо стучал поезд за полем и деревней.

Скоро это отомрет, а они вновь окажутся один на один с полугодовой меланхолией, которую так непросто выдержать раз за разом.

Осенний август – подпаленная солнцем трава, приобретающая неповторимый аромат. Ненавязчивый коричневый там, где еще должна цвести зелень, сухость беспардонно желтых цветов. Часто ходили они по вечным русским низинам, золото-зеленым. Шли зачем? Куда? Чувствуя лишь свободу и благоговение.

А потом Вера стояла на кухне в приталенной юбке и радовалась, что ее слушают. А за ее спиной цвели безбрежные просторы разнотравья.

– Я притворяюсь с ними, – сказала Вера Матвею. – Это заманчиво, для меня ново, и мне они нравятся, но это не я... Я и не общительная, и не веселая... Видимая часть моего характера вообще не имеет ко мне отношения. Строю из себя



кого-то лучше, терпимее...

– Какая чушь. Ты можешь быть кем хочешь. Мы сами лепим себя. И мы меняемся. Если ты была такой когда-то, то не должна следовать этому шаблону дальше. Если тебе что-то нравится, никто не мешает тебе поступать стихийно, так будет гораздо полезнее всем.

– Никто не любит лицемеров.

– Лицемерие... Это переоцененное слово, гротескное. Мы не лицемеры, мы просто люди, в которых слишком много. Приемники, пытающиеся переварить штормы информации, которая в них проникает. Мы не лицемеры, мы просто каждый день настроены на новую частоту.

Вера задумалась. Матвей часто нес какую-то пустую чепуху, но неизменно возрождался момент, когда она немела от точности его зарисовок. Она начала вспоминать, сколько лет они уже вместе и сколько лет она черпает из него новшества, поражаясь, вдохновляясь и вновь остывая.

– Я влюбляюсь в души, а не в тела.

– Влюбленность в душу – это дружба.

– Любовь без дружбы нежизнеспособна.

– Любовь много без чего нежизнеспособна.

Они посмотрели друг на друга и рассмеялись.

– С тобой всегда так интересно, – благодушно сказал Матвей и, подойдя, чмокнул ее в блестящую макушку. – Если бы я только мог забраться в эту прекрасную голову и понять, как ты видишь мир и меня... И эта вечная ревность, что тебе

с другим веселее, чем со мной.

– Мне казалось, ты слишком уверен в себе для ревности.

– Страх половой несостоятельности вертит земной шар.

– Ты порой говоришь мои мысли, как будто крадешь их у меня. Мне кажется, я понимаю больше того, что ты пытаешься донести. Надпонимание.

– Или воображение.

Вера, исполненная ощущения собственной неотразимости, бегло шагала по Невскому проспекту другого уже – не ее детства и даже юности – города Ленинграда. Давно уже не столицы, из которой как-то ночью сбежали главари.

Навстречу ей вышагивали бородатые мужики в грубых свитерах, тащившие с собой невнятные бумажные кули, чтобы обменять их на рынке на другой товар. Изваяния зданий остались прежними, но начинка стала другой – новые гастрономы, иная, какая-то торжественная, уступившая эстетизм функциональности. Замещение того, что хотелось, тем, что было под рукой. Странно с этим сочетались осколки прежней разгульно сорящей деньгами декадентской ауры.

Когда несколько лет назад объявили НЭП, отовсюду вдруг полезла еда. Вера, к тому моменту привыкшая к умеренному голоду и проблемам с самочувствием, долго не могла притронуться к пирожному, которое ей принес Матвей. Она, как должное воспринимающая обильный стол в родительском доме. Она, толком и не понимающая, откуда брались деньги на заграничные путешествия и мебель ручной работы, столько месяцев была счастлива вареной картошке с укропом. А теперь начинания Ленина почти свернули. Матвей мрачно воспринял новую линию Сталина и отзывался о нем с возрастающей едкой горечью.

Петербург был чист своей особой геометрической собранностью, даже мысли Веры становились летящими. Преспокойно слоняясь по дороге, она увиливала от редких трамваев и улыбалась Казанскому собору, монументальному, собранному, выверенному по граммам.

Немногочисленные машины и нередкие извозчики казались забавным украшением улиц. Сновали дородные, но изморенные бабы с козами. И вездесущие трамваи. Высокомерных дам, орошающих изнуренным взглядом толпу внизу, под каретой, стало на порядок меньше, да магазины и лавки выросли поскромнее. Зато повсюду запестрели удалые рекламные плакаты. Да великолепии лепнины померкло и местами растрескалось. Перешитые и переносенные платья дореволюционной эпохи завершали впечатление, а юные девушки, не то что она в досаждающем корсете несколько лет назад, бегали в совсем коротеньких платьицах без рукавов. Все это Вера приветствовала, как свежий ветер. Ей всегда и все, особенно в учебных заведениях, считали свой долгом напомнить, как она себя вести не должна, отчего в отрочестве она уже и не знала, что вообще осталось ей можно.

На Невском или Сенной можно было запастись не особенно разнообразными продуктами – пивом, хлебом, обувью. И все это в бумажных, быстро замасливающихся пакетах. Помня город своего детства, Вера испытывала понятную грусть от исчезновения Литовского рынка, уже обшарпанного к началу двадцатого века, но хранящего стать и загадоч-

ность ушедшей эпохи. Несколько зданий и памятников пострадали от пожаров, но в целом лик города мало изменился.

Мировоззрение людей поддавалось огранке пока еще слабо – выросшее поколение прекрасно помнило то, от чего откристилось. Различая в небе привычные густые облака, на которых будто проросла белая трава, напрочь закрывающая Солнце, Вера пыталась вспомнить, пострадал ли кто-то от реформ, касающихся церкви. Не вспомнив примеров, она решила, что никому нет до этого дела, поэтому верха делают что хотят и уже потом навязывают это людям, занятым выживанием.

Вера теперь не знала, что делать дальше. Раздражающаяся на Матвея больше положенного или напротив очень нежная, теперь она боялась даже смотреть в его сторону.

Было так невыносимо странно целовать его колючие, непривычно остриженные волосы и понимать, что между ними возникла какая-то дистанция. Быть может, уже завтра она проснется и ничего не вспомнит. А может... Образ Ярослава и те ощущения, что он дарил ей, вставали поперек ее кристального отношения к Матвею, отводили вкось. Вера жале-ла мужа, но и потребность в наполненной жизни, брызжущей эмоциями, не отпускала. При Ярославе она испытывала то полнейшее уныние от сознания себя обычной и ненужной, то небывалую оживленность и уверенность, что женщины глубже и энигматичнее он никогда не встретит. И домыслы о том, какова она в глазах мужчин, с которыми так тесно взаимодействовала в это лето, были куда важнее, происходящее на самом деле.

События последних дней были чем-то тайным, ее собственным, трагичным и разрастающимся до планетарного масштаба внутри. Так Вере хотелось выговориться, закричать, что никто ее не понимает... Но приходилось вновь цеплять на себя веселость и сплетничать о богеме. Даже Матвей... Приходил домой, что-то мычал и говорил о сиюминут-

ном, каждодневном или остро политичном. А политические разговоры не переводились – их можно было вести бесконечно. Вера уже тошнило от злободневности – она казалась ей обманщицей, отстраняющей внимание от вечного. Вера давно пыталась быть веселой, не спускаться в транс. Но прежние периоды меланхолии давали ей какое-то творческое очарование. Несмотря на собственные уверения в лени и плохом самочувствии, она выходила из этих промежутков одаренной мыслями и образами. А веселье, хоть и поднимало настроение, не содержало больше самого себя. Вера вечно кричала, что нельзя жаловаться, но сейчас как никогда хотела даже не пожаловаться, а спуститься в очищающую грусть – она никогда не высасывала силы.

Сознание, что ее никто не в силах постичь, было божественным, питающим ощущением. В нем смешивались грусть, блаженное одиночество, оторванность от суеты и избранность. И понимание это толкало искать человека, который примет.

Все чаще Вера проявляла инициативу близости. «Я же тебя уважаю», – говорил Матвей, какой-то привычно тихий, и отворачивался к стене. Как-то в пылу ссоры он назвал ее ненасытной. Ссору замяли, а боль осталась. Он был настолько разным... Порой Вера поддавалась вечной человеческой потребности все упрощать и не видела мужа. Лишь какие-то разрозненные черты его характера. Объединенный Матвей появлялся лишь в моменты нежности и откровений, когда

они лежали, обнявшись, а ветер шевелил занавески на вымытых окнах. Оба говорили о детстве. Но, может, оба недоговаривали что-то? Во всяком случае, Вера делала это. Она не могла теперь быть с Матвеем до конца, растворяя оболочку обеих душ. Ничто не стояло перед ней острее, чем волчье понимание, что каждый из них автономен и рожден, чтобы исследовать в первую очередь себя.

Она должна была идти дальше. А брак этот казался застопоренным, социальным концом. Вере казалось, что Матвей, с которым прежде было так комфортно, сильно изменился и ничего интересного из него уже выжать не получится. Сперва разгильдяй, он возмужал, стал проявлять характер и испытывать покровительственные чувства к Вере, но при этом парадоксально перестал быть вдохновителем чего-либо. Часто она чувствовала, как подавляет его, как он сворачивается в скорлупу. Матвей то казался разочарованным, озлобленным и со стиснутыми зубами клеймил человечество, то благодушно смеялся и пил квас. Цикл прерывался интересной политической заварушкой или новой идеей, которую он не собирался воплощать.

Матвей весь свой пыл направил на работу, оставив ей уставшего и сомневающегося в себе человека. Буйствующая энергия, заточенная в нем, никак не могла найти настоящего для себя русла.

Вере пришлось притворяться агрессором из-за отстраненности Матвея, и новая роль отчасти выплеснула копящиеся



в ней напряжение и обиду. Она не могла получить его былое внимание и кричала. От того, что она кричала, он отдалялся все больше.

Пару раз Вера разбила чашки об пол рядом с ним и обещала, что следующая полетит ему в голову. Матвей кричал что-то свое, но оба были более чем довольны показанным друг другу спектаклем. И все же что-то из их брака невозвратно ушло.

– Ты веришь, – протяжно спросила Вера, сужая глаза, – что мы, как захотим, так и будем думать, а следом и чувствовать? На самообмане держится столько в нашей жизни, так почему не протолкнуть его дальше?

– Спорный вопрос.

Вера ощутила прилив раздражения.

– Так поспорь.

– Пустая трата времени.

– А что тогда не пустая? – грозно спросила она.

– Что мы, может быть, впервые в истории получили право распоряжаться собой...

Вера странно посмотрела на мужа.

– Неужели. Белый мужчина из высших кругов говорит такое. Баловень судьбы вздумал жаловаться.

Матвей в свою очередь одарил ее недоумевающим взглядом.

– Почему ты вечно ведешь себя так, будто у нас вообще нет проблем?

– Потому что ваши проблемы вы создаете себе сами. А наши преследуют нас с рождения.

– Значит, это только вас казнили, калечили на войнах, гнобили в тюрьмах...

– К чему передергивать? Это уже вопрос политики – на-

сколько великой империи плевать на своих детей. К слову, было бы не логично, если бы монархия не сопротивлялась терроризму. И вообще, женщин тоже сажали в Петропавловскую, и немало.

– Тогда к чему все это...

– Если вам было плохо когда-то, то нам в этот же момент втройне.

– Сказочки.

– Ах, прекрати! – с раздражением воскликнула Вера. – Тебе этого не понять. Тебе нравится меня бесить!

– Ну конечно! – гаркнул Матвей. – Только ты у нас все понимаешь и чувствуешь!

– Замолчи! – взвизгнула Вера.

– Меня достали твои придирки! Все было прекрасно у нас, когда ты меня не особенно любила. А сейчас ты бешеная.

Вера опешила.

– Я?! Я тебя не любила?.. Да я, когда ты еще был ее женихом, – неожиданно заорала она, – просыпалась и, еще даже не позвав горничную, уже размышляла, придешь ли ты сегодня! И что я тебе скажу!

По привычке, не смягчая и не испытывая чувства вины, Вера хлопнула дверью. Вопреки ожиданиям Матвей не побежал успокаивать ее.

Но жалость к мужу из-за истории с матерью и братом не позволяли ей развязать скрутивший их узел. Она боялась, что, предай она его, он тоже полезет в петлю с бессловес-

ным разрешением прошлого. Человеческая непобедимость донельзя иллюзорна. Вера видела его незащищенность, детское стремление найти какую-нибудь опору, его мягкость... Это одновременно трогало и отвращало ее.

Повинуясь стальной решимости, периодически встречающей в ней в критические моменты, Вера двинулась за своей мишенью.

– Ты избегаешь меня? – стараясь звучать шутливо, спросила Вера, даже не пытаясь прикрываться светскостью беседы.

Ярослав обратился к ней проникновенными карими глазами с высоты своего роста. Он будто ни капли не удивился ее преследованию.

Вера неотрывно смотрела ему в самое нутро. Ярославу стало не по себе от этого взгляда, который, казалось, объял все сущее. В котором сосредоточилась мудрость веков.

Вера знала, что не имеет права так разговаривать с ним – он не был ее возлюбленным, чтобы ставить условия или выпытывать правду. Она знала, что на повышенный тон или требование обязательств он обычно реагирует уходом. Но сдерживать негодование она больше не могла.

– Откуда такие глупости? Я люблю людей.

– Я не про людей. Я про себя.

– Для младшего ребенка ты слишком эгоцентрична.

– Мы с сестрой росли такими разными, что я часто оставалась вне поля зрения мамушек и нянюшек.

– Рад за тебя.

Оба замолчали, подходя к колодцу с ведрами. Вера мрачно следила за тем, как ловко и органично он орудует рукояткой.

– Постоянно чего-то хочется, – протянула Вера.

– Значит, ты здорова. И по сути счастлива. Несчастье – ничего не хотеть.

– Имеешь ввиду, что желаемое можно реализовать? – протянула Вера, сузив глаза.

Ярослав ничего не ответил, но не удержался от взгляда на нее.

– Полина нравилась тебе?

– Нет.

– А мы похожи? – спросила Вера сладчайшим, намеренно пониженным голосом предвкушения.

– Ты красивее, – бесцветно отреагировал Ярослав.

Ее по-детски аккуратно заправленная в юбку блузка с белоснежным воротником делала ее похожей на подростка. Она бесила его, растравляла своей прогрессивностью, своей молчаливостью. Но о Вере постоянно все говорили, и он не мог не думать о ней.

– Правда? – подняла бровь Вера.

– Ты же замужем, почему ты так не понимаешь мужчин?

Вера молчала, борясь с волнением.

– Есть вещи... В самой нашей природе. Если ты хочешь видеть меня другом на поводке, это твое право. Я не могу.

– Почему?

– Мне говорили, что ты понимаешь все довольно глубоко, – с нажимом произнес Ярослав.

– А сам ты можешь обо мне передавать только чужие слова?

Ярослав стиснул зубы. Ему претила ее паталогическая склонность рыться в нем и выводить парадоксальные замечания, которые при всей своей абсурдности брали за горло.

Вера наклонилась за ведром и уткнулась в его куртку. Это легкое прикосновение показалось ей таким же зазывающе сладостным, как первые робкие открытия отрочества.

– Ты непонятно по какой причине заполняешь мою жизнь последние месяцы. Тебя слишком много. Ты есть, даже когда тебя нет. И это прекрасно. Ты прекрасен, – сердце ее колотилось где-то в мозге, но сладость того, что она, наконец, сказала, была неисчерпаема.

Нерешительность казалась менее опасной, чем молчание.

Ярослав замер. Женщины никогда не позволяли себе с ним такую смелость. Он брал, кого хотел, и их пассивность, после переходящая в манию придирок, казалась ему естественной. Он решил ответить откровенностью.

– Я привык брать тех, которые нравятся. Но тебя я взять не могу. Ты всегда рядом, но ты не моя. Ты думаешь, это не мучительно?

Его обескуражила собственная словоохотливость... Вера не шевелилась.

– До сегодняшнего дня я не знала, что ты вообще думаешь

обо мне.

Ярослав был взволнован не меньше Веры, хотя разговоры о любви были скучны, а демонстрация собственной сентиментальности и вовсе смешна.

– Зато у тебя есть Матвей.

– Матвей чудно проводит время со своими поклонницами. У нас современный брак, – беспечно ответила Вера, не до конца уверенная в правоте собственных слов.



Посеревший Матвей с каменным лицом собрал какие-то бумаги и уехал... Вера не спрашивала, куда и насколько. Вслед за наступившей тишиной в дом ворвался Ярослав. Вера не желала говорить. Ярослав шагал из угла в угол, что-то ревел. Вера хваталась за лицо. Он убеждал ее, что это не просто так, что теперь такое может случиться с каждым. Вера не понимала – Матвей давно уже не выдирает ее во внешний мир, потому что она дела ему понять, насколько это сиюминутно и пусто. Матвей, много видевший, оберегал ее добровольное неведение о том, что творилось почти на каждой улице. Мужские обсуждения у них на террасе навевали на нее скуку, и Вера находила отличную компанию в лице Артура, всегда готового поговорить с ней о чем-то другом. Артура... Которого арестовали. Мигом из мира закатов и цветов их выбросило в тоталитаризм, зарождение которого они провели за яростными спорами о свободе.

– Что теперь будет... – проронила Вера с закрытыми глазами каким-то погрубевшим больным голосом. – Они разрушили наше лето. Они все разрушили.

– Мы не сдадимся. Мы вытащим его.

– Неужели у тебя настолько прочные связи?

– Посмотрим.

На фоне подбирающейся катастрофы все было дозволено.

Давящие сумерки служили подспорьем этому.

– Он обожает тебя, – сказала Вера со смытой смесью отчаяния, боли и сладкой грусти от того, что все это происходит в реальности.

– Не так, как тебя, – ответил он через силу.

– Чушь. Ваша подростковая связь значит для него почти все. И это чувствуется.

– О тебе он говорил... Я такого больше не встречал. С упоением.

Вера зажмурила глаза, как делают это, не желая слушать. Она понимала, что они говорят о концентрации отношений между собой, которая через время рассосется. Но в тот момент действительно хотелось верить в искренность, пусть и недолговечную, их симпатий. Дурман сжигаемых костров заползал в дом.

– Нам было, что сказать друг другу.

– У тебя всем есть что сказать. Кроме меня.

– Потому что я боюсь тебя.

– Боишься?

– Не делай вид, что удивлен.

– Я не хотел бы, чтобы меня боялась девушка.

– Вот кто я для тебя... Девушка, которую нужно поразить.

Но вы сами создали этот образ и кормили меня им.

– Я не понял ход твоей мысли.

Вера замолчала, жмурясь в темноте.

– Нет, – сказал Ярослав чуть погодя. – Ты его друг. Этого

достаточно.

– Достаточно для вашего братства?

– Хотя бы.

Вера недобро усмехнулась.

– Смешное культивирование.

– Тебе кажется смешным то, чего ты не понимаешь.

– Не понимаю, – согласилась Вера. – А меня люди засоряют. Не дают думать собой.

Вера с ожиданием и тоской от возможного развенчания надежд смотрела на него сквозь растрепавшиеся волосы, захлестнувшие глаза, пытаясь распознать знаки его тела. И не было уже сомнений, пустых оправданий, чтобы ничего не делать. Не было больше ни Матвея, ни Аси,

Внутреннее тление достигло пика, казалось, даже ее волосы отделялись от головы из-за температуры.

– Мы одни? – тихо спросил он.

– Да.

Он задрал голову и издал протяжный звук.

– Что? – спросила Вера с вызовом, вжимая голову в плечи. – Не к добру?

Ярослав кивнул.

– Ты раб страстей?

– Не думаю.

Вера без всякого страха приблизилась к Ярославу и запустила пальцы в его темные волосы жестом боли и желания заменить Артура друг другом. Ей впервые стало жаль его. Ее

поразило, что он обнял ее в ответ. Сейчас был самый, быть может, неподходящий момент, но лишь так ей удалось проломить его удаленность.

– В конце жизни это станет сладостным воспоминанием, – прошептала она.

– Почему... Сейчас? – Вера сама поразилась собственной способности емко выразить все, что томилось где-то в приближении к органам чувств. И сама же злорадно добавила: – Редкий мужчина оттолкнет женщину, которая сама идет к нему. И уже плевать на мужскую солидарность.

– Помолчишь ты уже или нет? – спросил он прерывающимся голосом, целуя ее уверенно и крепко.

Ярослав приближался ртом к ее лицу, двигая руку вглубь юбки. Его охватила лихорадка, нежелание думать о последствиях. Скрытый в телах огонь, дарованный с рождения, заставил отступить все прочее. Как это будоражило и спустя множество окрашенных сладостью ирреальных раз. После полунамеков, полу взглядов и страстно ждущих отклика взоров. От него пахло табачным дымом, как от... Полины.

Помутнение хмурого вечера волнами забило последние доводы рассудка. Если он и хотел привязаться к кому-то, то тут же вспоминал, что тогда придется забыть о скоропалительных и уносящих объятиях новизны.

Вечно он вел себя как непроницаемый, держащий на плечах небесный свод далекий воин, и восхищаться им можно было только издалека. Ярослав не жаждал раскрываться.

Может, ему и не было что обсуждать часами. Она не могла избавиться от этого привкуса. Что же было за этой маской? Чрезмерная порядочность в мужчинах ее отвращала. Тем не менее невозможность дотянуться до Ярослава, пробить эту вынужденную оборону еще более поэтизировала его. Не был ли он подсознательным актером, не понимающим до конца, почему так ведет себя? Путаясь в собственной амбивалентности, Вера тем более терялась в чужих. Она не была лубочной настолько, чтобы приписывать людям примитивно толкуемые взгляды и движения.

Тело трепетало, но мозг соображал на удивление здраво. Сквозь странную красоту ситуации проступала легкая грусть, что Матвей отодвигался куда-то за ширму, что рубеж этот уже не перешагнуть обратно. Но больше всего свой собственный триумф – недоступный Ярослав все же оказался с ней в такой тесноте. Она задним умом понимала, что делает что-то страшное, непоправимое, но остановиться уже не могла, да и не особенно жаждала в каком-то упрямстве осоловелых губ. Они превратились в сцепившийся ком искр и жара – желанного, тянущего, выматывающего. Растворенное во всем существе всепобеждающее ликование выливалось освобождающими слезами.

Она сидела и смотрела на него спящего. Не небрежно вытянутые ноги. Во сне Ярослав выглядел совсем умиротворенным. Это настолько не вязалось с его всегдашней настроженной, как будто готовящейся к борьбе гримасой, что Вера не спешила уходить. Она даже не думала, что будет, если сейчас послышатся шаги мужа на нижнем этаже. После всего она чувствовала, что имеет право сидеть рядом с Ярославом по-турецки и исследовать это незнакомое лицо. За окном уже отцветало подводное солнце стирающей белизны ночей, кидались в форточки дурманящие запахи смерти августа, меланхоличного приближающимся концом.

Она подняла ладонь в желании погладить его по волосам, но удержалась. Жертва стала палачом.

В эту съедающую их ночь она долго бродила по ободранному небу в его перевозданной синеве. Должно быть, первый человек, обладающий зачатками сознания, уже робел перед этой мощью неизведанного. Должно быть, сам Будда медитировал под безмолвный стук такого же прохладного света.

На рассвете приехали Матвей с Артуром. Ошеломленные, но не особенно радостные. Вера, опасаясь смотреть на кого угодно, зевая, поставила примус. Почему-то никто не говорил о недоразумении, о благоприятной развязке. Все чувствовали, что кончается не только лето.

Лишь Ярослав бросил:

– Ну что?

– Спрашивали кое о чем, – отведя глаза, ответил Артур.

Матвей, проходящий с кухни в кабинет, услышал скрип входной двери и мельком взглянул на вошедшую жену. Он часто присматривался к Вере, чтобы понять, в каком она настроении и с чего начать разговор – с шутки, поцелуя или обороны. Ее вид удивил его – Вера была какая-то взвинченная и рассеянно оглядывалась по сторонам, ища ключ.

– Откуда ты такая? – спросил он, дожевывая сухарь.

Вера безмолвно подошла к нему и начала гладить его плечи. Ее взгляд увлек его, но и немного смутил. Она его совсем не слушала и лишь странно смотрела, от чего Матвей почти испугался. В этом взгляде была страсть и порабощающая сила. Вера увидела себя продолжением матери, превосходящей сестру в чувственности. Матвей с удовольствием поддался ее поцелуям, одаривая Веру ответными, как ранящие цветы по ее неприлично нежной коже.

Теперь она ощутила, как из друга, весельчака, хорошего любовника Матвей оборачивается родным человеком, миная обделенную страсть. Их физическое напряжение было доверительно окрашено в теплые золотистые тона.

Ее мальчик из театра... И зачем только она пересекла мир грез и впустила Ярослава в свою отточенную реальность? Раньше она ничего не предпринимала и была счастлива. Теперь нужно было отвечать за последствия собственного без-



рассудства. Ей казалось, что, чтобы добиться тайного знания о существовании, нужно сближаться с людьми и идти на эксперименты. Но грань между полнотой жизни и разочарованием оказалась удручающе непрочной.

Она мечтала о французском романе – красивом, утоляющем и не способном пресытить до конца. Не понимая, что все это уже имеет в собственном полу фиктивном браке. Никогда не зная истинного порока, Вера приняла за него свои безобидные потуги и испугалась, что мать передала ей эстафету.

В холодеющем вечернем свете они не включали ламп. Спальня пахла старым деревом, как часто пахнут русские дачи. По стенам ползали досаждающие мелкие жучки. А за окном дурманил терпкий запах влажной листвы.

– Меня не перестает забавлять, – тихо говорила Вера, довольная, что Матвей снова готов ее слушать и как отравляющую черноту вспоминая то, что произошло совсем недавно, – как люди, которые видят оболочку меня и какие-то отгрызки моей души во внешних проявлениях, имеют высокое мнение обо мне выводы.

Сейчас Вера всерьез поверила, что ее настоящую, максимально, насколько это было возможно, приближенную к самоощущению, видел только Матвей. Лучше, чем остальные. Но едва ли кто-то всерьез мог или хотел собирать по тысячным деталям целую картину, которой не было. Она и сама путалась в себе слишком часто.

– Люди думают, что имеют понятие о чем-то характере или – хуже того – кого-то понимают... Внешние проявления внутренней боли, обид, ревности, воспитания, распушенности, свободы, которые мы называем характером – такая чушь. Человек есть нечто большее, чем набор качеств, которые он удосуживается демонстрировать другим в неравных долях.

– Наше отношение к любому человеку или событию – лишь настроение. То, что мы сами себе создаем и во что свято верим, – сказал Матвей, поддавшись брачной привычке копировать мысль жены и продолжать ее, словно свою.

– Все, что возможно – составить о человеке какое-то базовое мнение для повседневности. И сосредоточиться на себе, потому что это единственное, что мы без кривых зеркал можем исследовать.

– Это еще что. Меня больше воодушевляют прогнозы, – хмыкнул Матвей. – Главное – дать людям возможность говорить. Нам не понять, в каком эмоциональном аду может жить тот, кто молчит. Мне потому и нравится моя работа. Я не молчу. И не даю молчать другим.

Вера задумалась – как он мог не молчать, когда вокруг была такая строгая, строжайшая цензура? Неужели он не видел узости, в которую его втискивали? Или они просто молчали, чтобы не тормозить друг друга? Чтобы в ужасе отрицания и фанатичного желания иметь пристань. Рядом с ней. Вера удивлялась, как мимо нее протекают страсти эпохи. И

это рождало в ней легкую грусть о скромности своей роли в пульсирующей истории страны.

– Как ты думаешь, – неуверенно начала Вера, когда они сидели за завтраком из овсяной каши. – Люди вообще любят кого-то? Или это редкость, если не обман?

Матвей с досадой опустил ложку.

– Любят. Это не обман – история человечества тому подтверждение.

– А если это успешная легенда?

– Почему ты спрашиваешь?

– Хватит выкручиваться, просто ответь.

– Ну...

– Я думаю, что любить, как и страдать, могут только люди с большой душой, умеющие чувствовать и понимать себя. Иначе это одержимость.

– Ну да.

Вера опустила глаза в тарелку. Интеллектуальная изоляция из-за лени Матвея или собственной нелюдимости порой гнула ее.

– Страсть угасает не потому что так положено, а потому что люди устают от взрослой жизни, никчемной, наполненной вещами, которые им не нравятся, размениваются. Распускаются.

– О чем ты?

– Что, уже нельзя порассуждать?

– Порой лень рассуждать. Хочется ерунды.

– Попробуй.

– Можем посплетничать об Артуре.

– А что с ним?

– Ты никогда не думала, что он может жениться?

Вера прыснула.

– Не в этой жизни.

– Почему?

– Потому что он, как настоящий рыцарь, до конца будет предан даже не даме сердца своего сеньора, а самому сеньору. Может, в этом есть глубоко запрятанная тяга к мужеложеству.

– Или неуверенность в том, что он что-то значит вне контекста салона...

– Он сам разрушил все свои романы. Потому что ни одной женщине не захочется быть второй или третьей после вас с Ярославом.

– Тем не менее, представь, если он уйдет от нас.

Вера задумалась. И почувствовала, как у нее слегка защемило сердце. Действительно, безотказный Артур, всегда бегущий на помощь... Но собственные спутанные мысли перекрыли эти.

Вера подзабыла, как единение с Матвеем помогало ей прочувствовать себя и даже с собой примириться. Тогда это казалось второстепенным на фоне вспыхивающих чувств, даже недостойным возвышенных мыслей о Ярославе. Пони-

мая их нежизненность, Вера не отказывалась от них. Она принимала как должное то, что было недоступно почти всем женщинам ее времени, запертых в ужасе тяжелой домашней работы – заботу и альтруизм. Это не мешало подпитке червячка внутри, напоминающему о союзе родителей и подзуживающему, что брак удовлетворяющим быть не может.

Еще не отойдя от тумана совершаемого, Вера ощутила себя униженной и запятнанной. А перед Матвеем хотелось оставаться чистой, потому что именно такой он ее и видел. Ярослав оказался живым, как и все остальные... И другим.

Тот же шарм, что с эпохой Виардо... Тот же шарм, что с любой жизнью, управляемой молодыми, которых не травят бесконечным морализаторством. Безумие эпохи Танго – раскрепощение вкупе с необразованностью и продолжающимися предрассудками. Но фантазии не хватало сока. И Вера пыталась принять урок. Сердце ее ныло все реже и короче. Стык иронии, смеха и трагедии сопровождал те дни.

Вера теперь мало думала о Ярославе. Ей словно хотелось передышки. Неприятное разрастающееся дрожью в груди чувство не давало желанного успокоения. Ей нужна была душа, а он мог дать ей лишь тело и считал это вершиной человеческих взаимоотношений. В попытке обмануть себя, перебить проклятую всевиденность разума она оказалась слепа.

Вере пришлось признать, что она не получила того удовольствия, на которое рассчитывала. Она ощущала какую-то раздирающую пустоту глупого поступка. Ей будто плюнули в душу в момент, о котором она грезила. Они оказались не нужны друг другу и годились только на роли быстро устающих друг от друга любовников.

Ярослав думал только о собственном удовлетворении, и подобный расклад был абсолютной неожиданностью – Вера не знала, что может быть иначе, чем с Матвеем. Ярославу явно недоставало нежности Матвея и его готовности дарить.

Вера полагала, что ей понравится свежий глоток – пройти через те же вехи, но с другим человеком... Но нет. Она слишком привыкла к хорошему мужчине, чтобы терпеть типичного. Вере стало гадко, что и она подарила ему ощущение собственной всесильности. Они дарили ему сознание собственной всесильности. Хотя все это и нужно было прикрыть игрушечной охотой.

Обман ощущений... Как часто в жизни нас морочит все подряд, даже собственные чувства. Мы думаем, раз чувства – то это стихийное, самое правдивое. Но на свете нет ничего истинного, не поддающегося опровержению, потому что все относительно, все субъективно. Мы считаем, что есть что-то верное и подходящее для нас, но ошибаемся на каждом шагу и относительно себя, и в особенности относительно других. Поэтому обречены любые сплетни, предложения, выводы, домыслы, а особенно советы. До чего-нибудь стоящего можно добраться либо сквозь дебри рефлексии, либо научившись направлять собственную интуицию в верное русло. Познать себя – и понятно станет остальное. Вернейший и недостижимый способ не увязнуть в белиберде существования.



Подходя к своей квартире, она в этой дымке тумана и вылетающего изо рта пара едва различила шагающего семимильными шагами Ярослава. Вера замерла. Она не хотела, не могла говорить с ним сейчас. Это было слишком странно, слишком пугающе реально после минут тихого пребывания наедине с собой в серости вдохновения.

Куда, от кого он шел? Ее тоскливо-безотчетный ангел, ускользающий от нее по ее же воле. Желанием какой-то договоренности, совершенности было окликнуть его. Но эмоций не хотелось так, как вхождения в прежнее.

Ей всегда было тяжело упускать людей, рвать их – другие души составляли ее жизнь, служили не только зеркалами, но и генераторами. Ей казалось, он должен принять ее решение спокойно – мало ли в его жизни было расставаний? Но Вера сама не могла ни принять это, ни перестать думать, почему так случилось.

Вера вжалась в холодную стену за своей спиной, уже скучая по тому призраку отношений, что успели зародиться между ними. На плечи навалилась усталость, не хотелось даже шевелиться.

Он остановился, с силой повел головой, натянул перчатки и воззрился на нее. Его выдох еще не рассеялся в то ли морозном, то ли оттаивающем воздухе.

Он сидел на полу, на корточках, откинув голову назад. Сцепив руки, выпячивая крупные плечи и не смотря на нее. Вера не могла наглядеться на совершенство этого молодого самца. Ее вновь начало подтачивать чувство, за которое она была не в ответе, которое рождалось где угодно, но не в мозге. Которое было столь стихийно и естественно, что она не могла не восхищаться им. Которое отыскал, схватил и вытянул наружу Матвей. А Ярослав лишь воспользовался им. Вера содрогнулась – что если любая физическая тяга к мужчине является завуалированным желанием иметь от него потомство? Что же тогда тяга к женщине?.. Желание переделать ее?.. Есть вещи, не объясняемые односложно. Вера с содроганием подумала о том, каково быть с мужчиной, который не способен пробудить этих липких и необходимых чувств.

Он ничего не понимал.

Она путанно говорила что-то о Матвее, о том, что так нельзя. Теперь, при свете дня, отчаяние разбитых ожиданий притерлось, и Вера вовсе не была уверена в том, что твердит. Отсутствие робости перед Ярославом приводило ее в замешательство.

Ей необходимо было любить, ненавидеть, строить теории и пути, так она чувствовала связь с людьми, которой всегда ей, чужачке по духу, так не хватало. А Ярослава это бесило. Она вбила себе в голову, что это обреченный роман, основанный на его эгоизме.

– Ты... Боже! Сколько в тебе этого, сколько можно! Ты не живешь – ты только думаешь! – прервал он ее на полуслове и встал на ноги.

Вера стоически молчала.

– Ты хочешь, чтобы тебя понимали... Но как тебя понять, если ты молчишь? Или ты думаешь, что все тебя оценят, потому что умеют читать мысли или видеть сквозь головы?

Вера не нашла, что ответить. Матвею не требовалось, чтобы она говорила. Ярослав ждал чего-то, но Вера не двигалась.

– Ты тоже вечно молчишь о своей душе, – только и сказала она. – Я тебя совсем не знаю.

Она не могла насытиться им, потому что чувствовала, что ей нет места в его жизни. И сознание этого вполне удовлетворяло сейчас, хоть и было невыносимо прежде. Ей казалось, что неотторжим от собственной исключительности и искала в этом препятствие для себя.

– Прекрати смотреть на меня, – сказал он, наконец.

– А ты мне не отвечай, – почти со злостью отозвалась Вера.

– Я вообще не должен был это делать!

– Как и я. Законы чести? – рассмеялась Вера низко и едко.

– Но знаешь, – отозвался он рассерженно, – я ни о чем не жалею. А ты можешь казниться теперь всю оставшуюся жизнь.

– Постараюсь обойтись без этого, – сказала Вера в дове-

сок, берясь за ручку и оставаясь к нему в пол оборота.

Вера даже попыталась улыбнуться – своеобразно она отомстила ему за месяцы истязаний.

В это время в его голове проносились их прежние встречи в пустых комнатах со спущенными шторами. Когда между ними словно не было преград, но они упорно говорили о ерунде и держались на расстоянии.

Они были слишком хороши для остальных и друг для друга, слишком непримиримы в вопросе собственной воли. Они не могли и не хотели отдать и доверить себя друг другу – слишком велика казалась потребность демонстрировать выносливость и самостоятельность.

Матвей как-то сказал, что Ярослав мало интересен, если отбросить его внешний апломб и авторитет, которые тот сам на себя нацепил.

Не может, права не имеет забирать у них с Матвеем жизнь, воспоминания, призраки людей, которых уже нет... чего ради? Ради человека, которому только и хочется, что сделать с ней то же, что и с другими своими женщинами – заставить выпрашивать свадьбу и тошнотворный быт. Она делала что хотела. С Ярославом, она подозревала, ей это бы не удалось.

Сколько женщин до нее так же хоронили своей нерешенный выбор? Что-то было иное между ними – упрямство, заколдованность. Голая страсть... разве достаточно ее для двух людей, живущих в настоящем? И это было мучительно – знать, что завтра проснешься, но жизнь будет уже иной.

Что было между ними кроме голого движения плоти? Надежда на сродство, мелькнувшее где-то в том саду, топящемся в синеве темноты.

Он пошел домой к своей невесте, это тянуло и пугало, делало его каким-то обреченным и неуловимым, а оттого самым желанным. Она встретит его в теплой квартире в красивом халате, с блестящими волосами... От нее будет пахнуть чистым телом и выпечкой. Они попьют чай, послушают радио, заснут в обнимку... Но вместо благодарности за то, что имеет, он будет думать о Вере. Думать, верно ли все вышло. Эта мысль немного подбадривала, ограждая от полного отчаяния. Куда интереснее было казнить себя, когда ее чувства оставались безответными. Должно быть, и здесь призрак матери с ее недоговоренным рассыпанным в прошлом романом не позволял Вере очиститься от саморазрушения.

Артур пытался поладить с Асей, но не был особенно впечатлен. Студенточка, чудом избежавшая жизни в коммуне общежития и с ужасом смотрящая на сокурсниц, бегающих на аборт без зазрения совести. Безобидная, вкрадчиво и тихо говорящая, не забывающая об улыбках. Она была так типична, что у Артура сводило зубы и он вздыхал, не в силах понять, как его непримиримый друг мой сойти до такого...

Они все неистово жаждали, чтобы их любили, быть может, и не понимая этого. Любили и через любовь принимали.

Вера не воспринимала любовь как бессмысленные томления – это чувство, по ее мнению, было глубоко конструктив-

ным. Когда она узнала о свадьбе Ярослава, рассмеялась. С недоумением смотря на розовую от нехитрого удовольствия Асю, Вера размышляла, проще ли было бы видеть на ее месте кого-то более выдающегося. Смотря на узкие губы Аси, Вера испытала странное успокоение.

– Можешь себе представить, – громогласно сообщил Матвей, ставя на рассохшуюся тумбочку бутылки с молоком, – что я узнал!

– Надо бы его прокипятить, – отстраненно сообщила Вера с кушетки. – А то пойдем вслед за Рейснер.

Подождав, не скажет ли Вера что-то еще, Матвей с удовольствием продолжал:

– Не поверишь, кого недавно видели в Ленинграде!

Вера не повернула головы.

– Игоря Андреянова! – решил он на третью попытку поразить жену.

Вера то ли не поверила, то ли не до конца прониклась этой новостью и продолжала сомнамбулически лежать на кушетке, удивив Матвея своей реакцией на событие, которое столько лет обсуждалось ей на повышенных тонах.

Но Вере нужно было свободное пространство, чтобы обдумать то, что случилось с ней спустя семь лет брака. Спустя столько лет свободы и неоформленных дум о том, как могло было бы быть, стать она обычной женщиной. Обычной матерью. Она не сомневалась, кто на самом деле послужил причиной изменения ее состояния. И эта новость отнюдь не была радостна для Веры, которая только успокоилась и решила, что Матвей заслуживает большего снисхождения. Она с



благодарностью воскрешала в памяти фотокарточки их лучших мгновений.

Вера не знала, как быть. Дни текли один за другим в ее полнейшем бездействии, а она, сменив отчаяние усталостью, лежала на кровати.

...аборт? Ее неумение, нежелание сталкиваться с реальностью отсекло эту мысль. Сделать его и снова и снова обсасывать уродство казенных стен? Вера знала, что не сможет остаться морально здоровой после подобного вмешательства. Да и образ матери, с которым она никогда не расставалась, не дал бы ей позволения на это. После исчезновения Полины она не имела права прервать свою родословную.

...сказать все Матвею? И потерять. Может, он и справился бы с ее изменой. Наверное, справился бы. На словах, поскольку в душе... в его душе она потеряла бы золотистый ореол большого ребенка. Его чистота не приняла бы этого. Она подумала о том, какой грязью происходящее выглядело бы для других. Ей стало противно, что кто-то вообще имеет право составлять о ней суждение, упрощенное им под стать.

Она оказалась в абсолютном тупике. Сказать все и все потерять или жить во лжи. Избавиться от нови и поломать свой мир... Или жить с тем, что подтачивает на корню.

Вере непривычны были партийные приемы, отдающие фальшью и мерзостью, учитывая, как голодно жила страна за пределами этих приглушенного цвета стен и казенной мебели. На их собственных собраниях можно было дурачиться, каламбурить, верить, что рядом друзья и тыл. Здесь этого не ощущалось. И с Верой случилось то, что всегда происходило с ней в неродной обстановке – она вжалась в себя. Она не могла заставить себя говорить ни о чем – это по-настоящему истощало.

Это несколько не мешало Скловскому все настойчивее проявлять в ее адрес знаки внимания. Вера по привычке, что к ней обычно относились подчеркнуто уважительно, не обращала на это пристальное внимание. Они были мальчики, немного увлеченные ей, другими и самими собой, совместным времяпрепровождением, духом обманчивой свободы. Все еще верящие, что революция, та, которую все вождедали, сделала свое дело. Виктор Скловский, очевидно, привык к другим женщинам и другому к ним обращению. Когда-то он даже был любовником той самой Марины, у которой Вера едала суп в гражданскую войну, но Вера не знала этот факт. Она хотела лишь написать статью о Скловском, выдающемся партийном деятеле, и заодно утолить любопытство о скрытом мире советской элиты.

Весь вечер Скловский, статный мужчина с мягкими, но не терпящими возражений повадками, делал Вере недвусмысленные намеки, на которые она пыталась отмалчиваться. Когда она уходила, он сопровождал ее в холле и, вырвав шубку у нее из рук, помог Вере надеть ее. Когда шубка опустилась на плечи, Скловский скрепил на ней руки и опустился к Вериной щеке. Вера дернулась и нечаянно ударила его по подбородку.

– Простите, – пролепетала Вера, не зная, как выйти из щекотливой ситуации.

– Ничего, – мягко произнес Скловский. – Мне нравятся опасные женщины.

Банальность этой формулировки возмутила Веру.

– Я должна идти к мужу, – сказала она твердо и направилась к двери. – Спасибо за все.

Скловский, виртуозно переступив через собственные ноги, опередил ее снова и по-хозяйски обнял за талию.

– Ну же, Верочка. Неужто вы меня совсем не уважаете.

«А мне что за прок?» – брезгливо подумала она.

Вере нелегко было расстраивать людей. Но, оказалось, что, если не овладеть тактикой отказа, люди покусаятся на то, что им не принадлежит, без всяких зазрений совести.

– Виктор Васильевич! – сказала Вера хриплым от волнения голосом. – Я, кажется...

Скловский отпору не внял и направился ниже. В приступе страха и отвращения она, насколько могла сильно, ударила

его ногой.

Маневр удался. Скловский с воплем отвалился.

– Что ты себе позволяешь?! – заорал он.

– Оставьте меня в покое!

– Буржуйская морда мне будет указывать, что делать?

Не дожидаясь дальнейших обменов любезностями, Вера бросилась к выходу.

– Как бы тебе не пожалеть! – крикнул ей вдогонку Виктор.

Зайдя в прохладный холл и проклиная свой разрастающийся живот, Вера поставила авоську на старую ободранную тумбочку и вдохнула распластанный по дому запах кофе, который теперь ей нельзя было пить... В очередной раз она припомнила Ярослава со смесью чувства вины и злобы. Ей показалось, что кто-то ходит в саду.

– Матвей! – крикнула Вера, и снова ее обожгло сознанием, что она обманщица и не имеет права к нему обращаться.

В форточку постучали.

Вера выглянула в окно и подавила вскрик уже в горле.

– Здравствуй, родная, – осклабился Игорь.

– Где Полина? – давясь воздухом, который заглывала, выдавила из себя Вера, неотрывно смотря на гостя.

– Забавно ты прибрала к рукам ее незадачливого женишка.

– Где Полина?! Я ищу ее уже не первый год!

– Тебя правда интересует это? Без нее, мне казалось, твоя жизнь серой мышки только улучшилась. Впусти меня.

Вера, дрожа, раздумывала. Наконец, любопытство победило осторожность. Игорь оказался внутри.

– Где моя сестра?!

– Моя красавица... – мечтательно протянул Игорь. – Какая кожа... Несмотря на не лучшее твое положение.

Он начал гладить ее по лицу и губам. Вера грубо ударила его руку.

– Ты хочешь знать, где твоя сестра... Но ты не имеешь на это права, – с досадой обронил Игорь, трогая посуду в серванте.

Вера поняла, что лучше молчать и дать ему высказаться.

– Не имеешь, – продолжил он, не дождавшись сопротивления. – Потому что ты отреклась от революции и отрекаешься до сих пор. Жируешь тут, вынашиваешь детей. Какая мерзость. Ты живешь так, словно ничего не происходит.

– Пока я об этом не думаю, этого не происходит.

– Хм...

– Белая плесень заслуживает уничтожения.

– Но я приняла революцию!

– Ты ни за что не боролась, что толку, что ты приняла ее? Кому нужны слова?

– Я никогда революционером и не была. Сочувствовала ей, видела ее огрехи. Не более. Человек – индивидуалист по своей природе.

– Ты дура. Как раз мы индивидуалисты. Любой головорез заткнет за пояс заумную тебя или твоего муженька – гедониста.

– Вы просто хотите заткнуть пустоту этой якобы ненамеренной оригинальностью.

– Не тыловой крысе что-то мне доказывать.

– Не высокомерному убийце доказывать что-то мне.

Игорь насмешливо скривил рот. Вера старалась скрыть дрожь от воспоминаний, как она бежала за Полиной. Наверное, хватало от Игоря жестокости несчастливцам, попавшимся на пути... Где же Матвей?

Игорь откинул назад идеально подстриженный затылок и загоготал.

– Вы не можете понять, что нельзя делать то, что приносит страдания другим. Просто не можете.

– Страдания какого рода? Если я изменю жене, меня не накажут. Но если я отниму рубль у соседа, ко мне тут же прибегут стражи порядка. Мораль текуча, не правда ли?

Вера молчала.

– Зачем ты приехал? Глумиться?

– Ну-ну, Вера. К чему такие краски?

– О, мерзавцы вроде тебя очень любят делать вид, что все происходит только по воле человека, забывая, что люди управляемы. Даже такие, как Полина. Учти, что в этот раз ты невредимым не уйдешь, – проронила Вера, все поглядывая на дверь.

– Учту, дорогая. И расскажу тебе кое-что интересное.

– Едва ли твои очередные человеконенавистнические бредни...

– Это о Полине.

Вера стихла на полуслове.

– Что?

– Как она умерла.

Вера напряженно смотрела на Игоря. Он молчал.

– Ты лжешь, – она сглотнула.

Игорь молча смотрел на нее.

– Что ты молчишь? – сказала она с раздражением.

– Потому что ты не знаешь ничего и что-то из себя мнишь.

Вера в холоде жара зацепилась за его глаза – волчьи, прыскающие иронией, насмехающиеся над всем светом и ясно дающие понять, что, умирай ты в мучениях, он не поведет и бровью, если ты принадлежишь к племени его противников. Гипнотические, потрясающие глаза.

– Для Полины не будет удивительно, если она вдруг возникнет из ниоткуда. И пошлет тебя подальше.

– Не думаю, милая. Она никого уже никуда не пошлет.

Вера оцепенела. Хоть она и сотни раз думала о том же, но слышать это от человека, бывшего с Полей позже, чем она, было нестерпимо.

– Ты ничего не знаешь, ничего! – хрипло сказала она, повышая голос.

– Она умерла от заражения крови во время родов. На фронте.

Вера стояла неподвижно. Но даже Игорю с его напускной непроницаемостью стало не по себе от ее налитого кровью взгляда.



– Ты убил ее.

– Знаешь, дорогая, я, может, и виноват в чем-то, но точно не в убийстве любимой женщины.

– Любимой? – спросила Вера тоном пантеры. – Любимой?! Это любимую-то женщину тащат за собой на фронт, чтобы она сгнула там в грязи без врачебной помощи?!

В глазах Игоря шевельнулось что-то. Но он быстро опомнился.

– Милая, – сказал он с какой-то невыносимой сладостью. – Нехорошо так разговаривать с родным братом.

Вера посмотрела на него, как на сумасшедшего.

– Пошел к черту. Будь ты проклят.

Она направилась к двери, чтобы открыть ее и выпроводить незваного гостя.

– Семейные черты... – мечтательно произнес Игорь, хотя пальцы его бегали по бедру.

– Мне жаль тебя, – соврала Вера, чтобы хоть как-нибудь ранить его.

– Да, думаю, моя судьба достойна жалости.

– Так говорят ничтожества, – ответила Вера, поразившись, что говорит это, а не спрашивает о Полине и не рыдает по ней.

– Моя остроязычная Вера... Я скучал по тебе. Тихоня Вера все успела...

– За что ты мстишь нам?

– Вы просто недостойны жить. Вы – ошибка эволюции,

выродившийся класс со сгнившей моралью. Вы должны освободить место для людей лучше себя.

Настолько отвратителен, отталкивающ в своей несомненной одаренности, что у Веры сводило зубы от его омерзительной ухмылочки.

– Знаешь, то, что Полина была беременна от тебя, не дает тебе права говорить, что ты мой брат.

– Разве дело в чьей-то беременности? Знаешь, я все детство мечтал сказать это тебе, когда ты будешь унижена и бедна. Будущее твое явно не самое блестящее.

– Мне кажется, ты страдаешь шизофренией, – с отвращением сказала Вера.

– В нашем роду не было психически больных.

– Мы не родственники!

– Не были бы, если бы наш отец так не любил ключниц.

Огромные глаза Веры, в упор уже без всяких масок устремленные на Игоря, не сказали ему о доверии. В голове Игоря закрутилась Полина – та, дореволюционная, грациозно восседающая в старомодном кресле и обращенная к нему полубоком.

– Ты меня не проведешь. Только монстр стал бы спать с родной сестрой.

– Единокровной, если быть точнее. Наш папочка не смог совладать со своей похотью. А я со своей.

По Веринуому лицу он понял, что она борется с проступающим доверием.

– Ты... зачем так поступать?

– Как я уже сказал, я показал ему, что не только он может следовать низменным инстинктам на правах высшего сословия.

– Показал?.. Он уехал!

– А ты думаешь, я упустил момент открыть ему правду? Пусть на чужбине презирает себя не только за предательство родины.

Вера схватилась за голову. Слишком слаженным был его рассказ. И то, как вел себя отец в те последние дни перед миграцией... Вера чувствовала, как начинает задыхаться от холода, спускающегося по ее пищеводу.

– А Полина?.. Полина что тебе сделала, чтобы получить такое?

– Не волнуйся, Полина ничего об этом не узнала.

– Ах, не волноваться! Зато я узнала! Я! И как мне теперь жить с этим?! Ты стоишь передо мной живой, сытый, пока моя сестра в могиле!

– В жизни все бывает.

– И это все, что ты мне скажешь?

– Что ты хочешь еще? Я сказал правду.

– Зачем? Чтобы очистить совесть?! Она у тебя есть?!

– Знаешь, Вера, тебе винить некого, кроме твоего обожаемого папаши. И сестрицы, которая в детстве смотрела на меня как на прислугу.

– Что? Вы были... вы знали друг друга в детстве?!

– О, вы, конечно, меня не помните. Зато я прекрасно помню вас обеих. Вы имели все – семью, деньги, происхождение... А я – бастард. Ублюдок. Не забуду, как отец ехал с вами в экипаже, и вы все чему-то смеялись, пока я в пыли стоял и смотрел вам вслед.

Вера вперила в него безумные глаза.

– Некого винить тебе, кроме тебя. Ты – преступник, не мой отец. Многим жизнь подложила свинью, но они не озлобились.

– Как же...

– Замолчи! Не смей, – она подошла к нему вплотную, – не смей, да как ты смеешь! Не смей вину сваливать на отца! Не он это сделал – ты! Ты и в ответе!

– У каждого свой взгляд на все это, – холодно парировал Игорь.

Вера схватила со стола нож для масла и попыталась ударить им Игоря. Он выкрутил ее руку и толкнул так, что она упала на пол, ударившись головой о стол.

Игорь хотел помочь ей подняться. В нем сменялись непонятные ему самому чувства – торжества, отмщения... и странной тоскливой взволнованности.

– Ты – мертвец, утягивающий за собой чужие души... – выбила она зубами.

Растрепавшиеся волосы и поза головой вниз, стоя на ладонях, мешали ей говорить.

– Мы сколько угодно можем быть грешными, но мы ни-

когда даже не приблизимся к масштабу твоего уродства.

– Как же тебя выдрессировали говорить красиво... Даже теперь, когда ты якобы ощущаешь вселенскую скорбь, ты не перестаешь играть.

– Исчезни.

– Что? – с легким смешком отозвался Игорь. – Ты меня гонишь? Знаешь, даже в моменты бешенства человек сохраняет уголок сознания холодным. Поэтому срывы – это лицемерие. Нежелание сдержаться. Не переигрывай.

Вера посмотрела на него неверящими глазами.

– Гореть тебе в аду, хоть я в бога и не верю. Но такие, как ты, должны получить по заслугам хоть каким-то способом.

– Позволь заметить, милая, – сказал Игорь, открывая дверь, – что с точки зрения закона ничего я не сделал. А вот ты можешь сильно подпортить себе жизнь, если начнешь мне мстить.

Смотря в эти стылые глаза, Вера вдруг вспомнила тот проклятый день, когда они впервые встретились. День, сулящий столько наград.

Увидев Верину реакцию, Игорь задумался, что она чувствует. Ему стало досадно, что на ее лице так бушуют эмоции, в то время как внутри себя он ощущал лишь тотальное спокойствие или даже тотальную пустоту. Какое-то время он надеялся, что страсть к Полине можно назвать любовью... Но он скучал по ней больше как по интересному соратнику, чем как по любовнице – она оказалась странно скованна за

закрытой дверью.

Ни у кого не получилось ни навязать Вере свои убеждения, ни сломать волю. Поэтому Игорь люто ее ненавидел. Сначала она была лишь второй сестрой – весь гнев обделенности он концентрировал на Полине, потому что та казалась ему сосредоточием незаслуженного благоденствия. Потому что в детстве она подтрунивала над ним и слишком активно вела себя для девочки. Игорь ненавидел и боялся женщин ровно до той поры, пока не научился побеждать их. А Полина восхищалась им, чем снискала презрение.

Игорь испытывал к ней особое надломленное влечение и даже хотел наречь это любовью... Было заманчиво считать, что, наконец, ему кто-то стал близок.

Что не мешало ему сладко представлять, что она проходит через подпольный аборт, узнав об их близком родстве, то узнает правду только после рождения неполноценного ребенка... Но он заигрался в эти эфемерно-отравляющие отношения. Для победы, для достижения цели ему не нужна была семья. Даже Полина, ставшая распухшей, жалкой и болезненной. Он зашел слишком далеко.

Однако, по Полине Игорь скучал. С ней был чертовски интересно. А как он завидовал ей! Ее наполненности, с которой тягаться прежде не мог. Ее наполненности, которую подсознательно не улавливал в себе.... Мог ли он спасти Полину? Должно быть, мог. С его связями и влиянием. Но не стал. Не считал необходимым даже подумать об этом.

– Мне страшно, страшно, милый, – шептала Вера, цепляясь за спину мужа неверными пальцами. – Он отомстит мне, непременно отомстит...

– Да брось ты, – беззаботно отвечал Матвей, целуя ее в макушку. – Ты ведь чиста перед властью, она тебя не тронет.

И Вера верила. Она всегда ему верила.

– Когда в душе ничего нет... Они впиваются в людей. С собой наедине, наверное, настолько неинтересно... – произнесла Вера, содрогаясь.

Теперь она казнила себя, что не уберегла сестру, не вмешалась, подзабыв, что Полина с ее извечным апломбом поступала назло непрошенному вмешательству.

Вера пыталась думать о сестре и правдивости рассказа Игоря – это ко всему прочему отвлекало ее от лжи, в которой она теперь жила, отгоняя навязчивые догадки, что Матвей что-то подозревает. Ей пришлось признать, что, как бы ей ни хотелось, она никогда не ненавидела Полину. Даже когда та бросила их на погибель ради Игоря.

Сложно испытывать восхищение женщиной, пропагандирующей эмансипацию каждой своей порой и попавшей в такую жестокую зависимость от одобрения мужчины...

Если это и было взросление, то Вера согласилась бы вернуться во времена, когда все было вновь и все восхищало.

Личинки черствости прорастали именно сейчас.

Боль от истории Полины Вера попыталась спрятать внутрь, чтобы переболеть ей потом. Она не хотела рисковать беременностью. Только вот боль эта была теперь какой-то далекой и безжизненной, как притупленный водой голод. Против желания Веры Полина будто треснула пополам. Раньше она не проигрывала. Великое противостояние закончилось, начался конец Полины.



Игорь и Поля критиковали все и всех и издевались над религией, заменив фанатизм религии фанатизмом революции.

...но, чуть освободившись от окутанности коренной переменной жизни, Полина начала колебаться. Как легко было говорить глупости, зажимая между зубов сигарету, и как тяжело поднять руку на человека... Мораль прижимала Полину, не давала делать то, что вершил Игорь. Поля с ужасом обнаружила в себе наивность, потому что только слышала о грязи, а не участвовала в ней. А мат и разврат побоищ плохо вписывались в картину прекрасного будущего. И в картину прекрасного прошлого с позолоченными подсвечниками и матерью в кружевах. Игорь же видел в хаосе и войне величайшее наслаждение и уговаривал Полину не бросать идею из-за временных трудностей, звал ее эгоисткой. Впервые встретив запрет и сильную руку, Поля удивилась и спасовала.

Когда она оглянулась, поняв, что беременная оказалась на гражданской войне в окопах с мужчинами, она ужаснулась тому, что сделала с собой. Но бежать было некуда.

Любовь их на войне оказалась освобожденной, неистойвой, как каждый вздох, с особым привкусом, обостренным, граничащим с пониманием, что важно на самом деле. Неистовство, болезнь. Ощущение себя в центре мира, единственно-

го важного и освобождающего. Властелины смелее и лучше прочих, забытых, тупых, которых надо вывести из скотского состояния. Игорь войну обожал, упивался собственной значимостью. Тыловая жизнь казалась ему блеклой, никчемной. Идея о победе мировой, не только локальной революции, пьянила, затапливала, заставляла задыхаться от перспектив, заставляла видеть себя столпами, великанами. И не было ничего прекраснее лица Полины, окаймленного безнадежного цвета буденовкой с заткнутой посередине сигаркой; пальцев, измазанных пеплом; всей стройной и быстрой фигуры, восседающей на коне и гордо держащей голову с надменным прищуром пологих глаз.

Война не страшна, если в нее веришь. Игорю же нравилась резня, вопли и кровь. Это был способ убивать, за который не осудят. Так ему казалось, что несчастен не только он со скитаниями по приемным семьям.

Ярослав как-то заскочил к Матвею с Артуром. Идти он не хотел.

После истеричной необычности сестер Валевских Ярослав неосознанно начал опасаться подобного.

Как бы между прочим Матвей поведал о беременности жены в своем извечном шутовском тоне. Ярослав замолчал и долго сидел, не шевелясь.

Он подкараулил Веру, возвращающуюся из оперы.

Вера удивилась, как из молчаливой обожательницы стала целью. Не без злорадства она отметила, что сохранила достоинство.

– Не могу поверить, – произнес он вместо приветствий.

Вера не стала делать вид, что не поняла.

– Не стоит так уж удивляться, – в своей излюбленной снисходительно-подтрунивающей манере ответила она. – Такое происходит сплошь и рядом. Ты ведь тоже как-то родился.

– Будешь шутковать? – спросил он грубо.

– Такого раньше не случилось? Может, ты просто не знаешь.

Ярослав взъерошил волосы. Ребенок?.. Какой-то мифический, несуществующий, но уже потенциально опасный. Брать на себя ответственность, что-то менять, решать... За-

чем? Почему он должен? Из-за какой-то насмешки судьбы? Тревожить Асю...

Вера крепилась изо всех сил, напуская на себя неискреннюю иронию, хотя ей хотелось кричать и бить его по лицу. Она вообще не могла видеть его. Как так вышло, как можно быть такими безалаберными идиотами?! О ней он никогда не думал – только о своем удовольствии. А она, привыкшая спать с Матвеем без последствий, забыла, даже никогда не зная, какая цена бывает за наслаждение. Даже сама беременность не страшила ее так, как мысль о том, что будет с Матвеем, если он узнает правду. С беременностью она в конце концов сладила и примирилась.

В их отношениях только-только настало потепление, какое-то непривычное затишье, вернувшее вознесение первых лет. Как все оказалось просто – лишь подойти и обнять. Что было холодноватого между ними – и было ли вообще – Вера так и не смогла понять. Ее бесило молчание Матвея и вечный умиротворенный вид, даже когда он орал на кого-то по телефону. Веру привлекали эти несостыковки, противоречия. Привлекало и его извечное жизнелюбие, которое он порой огранял в критику и жалобы на жизнь. Вера осознавала, что и с ней было сложно временами. С ее нежеланием слушать его, длежащимися днями и сменяющимся за минуту. С ее воспламеняющимися обидами и слепотой к его бедам.

– Это ребенок не твой. Я от тебя ничего не жду и не хочу. Можешь быть свободен. Я с тобой встреч уж точно не иска-

ла, – бодро произнесла она с уколом вины.

Вдогонку она подумала, что сам факт, что она не решилась сделать аборт, отлично ее оправдывает.

– Не мой, – процедил Ярослав. – Думаешь, я не знаю?

– И что же ты знаешь? – с ядовитой улыбкой спросила Вера. Она сама до конца не понимала, почему ей хочется вонзить в него когти.

– Про Матвея, – с таким же, но более грозным выражением ответил Ярослав, навязчиво идя рядом. – Не думаю, что за это время ты спуталась с кем-то еще.

– Ты решил поиграть в благородство, – грозно спросила Вера.

– А я когда-то был низок?

– Оставь меня в покое, пожалуйста, – сказала она и зашла в парадную.

Петербург опутывала серая мгла, отдающая едва различимым фиолетовым отсветом во все пространство неба. Ярослав, стараясь казаться спокойным, мрачно курил, даже не закрыв дверь в неудобную машину с узкими окошками. Вдруг он увидел просвет в непроходимых облаках. Узкая полоска бессовестно апельсинового солнца пронзила Веру, почти такую же нарядную как полчаса назад, выбежавшую из подъезда в не по погоде тоненьких туфлях.

– Все решено, уходи. Иди к жене, с ней у тебя все будет.

Ярослав не шевелился.

Стояла темень, и только фары светили и гудели. Мистич-

но глядели сомкнутые деревья.

– Ты...

– Я не брошу все ради тебя! – резко и четко отрубил Вера.

Впрочем, он и не просил. Он ничего не требовал, вынуждая женщин требовать самим и сходить с ума от того, что нельзя ухватить.

– Что – все?! – грозно спросил Ярослав. – Моего ребенка?!

– Бога ради, – фыркнула Вера.

Ей хотелось думать, что всех можно прочитать, классифицировать и отбросить.

– Не ищи меня больше, слышишь? Никому не смей говорить. Я все буду отрицать. Матвей поверит мне, а не тебе.

– Вера...

Обреченность и облегчение выбора. Они встречались, смеялись одним шуткам, смотрели друг на друга и, если даже что-то думали про себя об общем будущем, оставляли это по другую сторону. Почему нельзя всю жизнь провести в завидной гармонии?

Она зашла в квартиру и долго не решалась включить свет, в оцепенении наблюдая за движением теней по стенам. Прошла через перегородку и стала возле окна – сколько раз они помогали ей своим провожением в иные миры. Ярослав продолжал стоять там под окнами. Вера, молчаливая, явно не годящаяся на звание души компании, задернула истлевающие шторы. Пройдет. Утрясется. Матвей бы не пережил. Для

Ярослава это дело месяца.

Продрогший, Ярослав стоял под ее окном и высматривал темноту стекол. Она понимала его тоску по ребенку, который еще не появился, и это рвало сердце. Тяжело было жить с этой вечной, вьезшейся под ногти ложью.

Она не хотела грубеть, судить, жаловаться, разочаровываться. Не хотела быть недовольной всем. Она от этого отбивалась. Но мягкость сохраняют лишь те, кто не встречался с полной стороной жизни.

Одно дело слова о свободе в браке, а другое – чужой ребенок, брезгливость по отношению к ней... Будь она мужчиной, она испытывала именно это, с горечью думала Вера. Матвей хороший, терпеливый, но всему же есть предел. Для Матвея ударом будет даже не столько ее измена, сколько сознание, что он отцом все же быть не может... Сколько гордости было в его глазах! За его пеленой веселости она не переставала высматривать хтоническое отчаяние семьи самоубийц.

Вера считала, что нет детей так нет. А Матвея это, оказывается, грызло. Он узнал случайно, когда она оставила на столе свою медицинскую книжку, и был слишком счастлив для того, чтобы она озвучила правду. Он так смеялся, обнимая ее и глядя по волосам... И она обрадовалась, что выбор снят с нее.

Они пришли за ней. Два рослых мужчины в темном. С такими же, как одежда, непроницаемыми безликими глазами. Вера что-то мычала, натыкалась на побелевшее лицо Матвея, взволнованно улыбалась ему, смотрела, как он что-то горячо разъясняет безучастным столбам.

– Она не могла ничего сделать! Она ни в чем не виновата.

– Это решат соответствующие люди.

– Не переживай, – выдавила из себя Вера, хотя внутри что-то предательски сжималось. – Они меня поспрашивают и отпустят. Так часто бывает.

Она вовсе не знала, как бывает и предпочитала не задумываться об этом. Матвей не осилил даже легкую улыбку в ответ. Лишь кивнул.

– Я буду тебя ждать.

На допросах Вера демонстрировала напускное веселье через отчаяние. Сидела, собранная, трогательная, в берете, и ждала, когда ее отпустят. Они хотели, чтобы она призналась в каком-то шпионаже. Сначала Вера смеялась и искренне недоумевала, откуда они взяли это. Потом ей стало не до смеха, когда ее избивали, обливали водой и морили голодом. Сквозь туманную пелену несчастья ее сковывал животный страх, которого она никогда не ведала. Потому что впервые смерть стояла так близко. Спина была вздыблена и мокра. Но



с воспаленными глазами она произносила слова на допросах как никогда четко. Постепенно она призналась во всем, что они любезно ей озвучили.

Она едва не рассталась с беременностью и преждевременно родила крошечную бордовую девочку. Она просто не верила, что это происходило с ней в такой антисанитарии, в неволе... В каких-то холодных обшарпанных стенах, отделяющих ее от всего, что было раньше. Дочь у нее отняли сразу же и не хотели возвращать. Сквозь это Вера не замечала ни непрекращающегося кровотечения, которое стало для нее новостью и которое сперва она не без надежды восприняла как сигнал собственной гибели.

– Не смей высовываться, на тебе ребенок, – прошептала Матвею изнуренная женщина с посеревшей кожей и бездонными кругами под глазами, которая не могла быть его искрометной красавицей – женой. – Стать тише воды, исчезни из столиц, но подними ее.

Она поежилась от молочной лихорадки.

– Отрекись от меня, объяви сумасшедшей, не ее матерью, сделай что угодно, чтобы это на ней не отразилось! – закричала под конец того – последнего – свидания Вера, судорожно цепляясь за его воротник. Матвей в какой-то пелене неверия в происходящее ничего не мог ответить.

Теперь и речи не могло быть о том, чтобы раскрыть ему правду. Он был единственным спасением для Лиды. Бесконечный страх за судьбу девочки отодвинул ужас происходя-

щего.

– Ты лучшая женщина, которая только могла встретиться мне. Ты моя сестра, – все, что он смог вынуть из себя, но сокровенные слова прозвучали тускло в ужасе окружающего.

– Рано прощаться, – смиренно ответила Вера, хотя руки ее не слушались. – Меня нет! – закричала она через секунду. – А я так хочу быть!

– Как жаль терять эту красоту... – добавила она и прикрыла опустевшие глаза.

Мечтать о девочке и не провести с ней ни дня. Отдать, чтобы спасти от тюремного обитания. Не видеть, как она взрослеет, как ее глаза наполняются смыслом и жадой познания.

# Эпилог

*И что есть, было и будет небо над головой и земля под ногами.*

*Ариадна Эфрон*

# 1

Брела Вера в грубых терзающих ноги сапогах по колено, закутанная в жесткий серый платок. И думала, что могла бы пережить все это даже стойко, похоронив в себе прошлую лихорадку существования, если бы точно знала, что когда-нибудь это кончится. И жизнь, свободная, чистая – прошлая – возобладает. Осталось в памяти лишь оно – смываемое счастье, распластанное меж скоротечности ослепляющих летних дней. Не было больше одиночества – была общность несчастья и несвободы.

Вера вспоминала луга, цветы и размах муз ее молодости, безумного, страшного и великолепного двадцатого века. Ежедневно она представляла, какой стала ее Лидия. Как важно было сохранить силы для надежды. Потому что надежда сохраняла остатки ее самой. Больше не было ничего – какие-то скользящие серые дни, однообразные до рвоты. Они, вероятно, казались одинаковыми, эти женщины с переломанной чужеродным вторжением судьбой. Не было ничего до этих беспросветных дней. И не будет ничего дальше. Запоминать было нечего, да и не хотелось. Она словно перенеслась в дурной роман, который не хотела читать. И с досадой перелистывала страницы. А из будущего периодически обваливался страх, что страницы скоро кончатся в этом отчаявшемся отупении.

Грязный сплин – плохой брат прошлой светлой грусти.

Перебрасывали ее из лагеря в лагерь, с работы на работу. Иногда давали премии провизией. Ради свиданий нужно было преодолеть столько инстанций, что Матвей так и не смог приехать. За оградой цвела весна или опадала осень... А время просачивалось мимо. Но все же осознание глубины и чуда жизни не отступали даже здесь. Вера не негодовала на обстоятельства, заточившие ее. Это уже не имело значения.

Норильск, кубометры снега. Плавающие брови костры, которые они разжигали в мерзлоте, чтобы расчистить место под фундамент будущему заводу. Металлургический дворец, который они сначала строили, а затем развивали. Медаль за труд, которую ей чуть не пожаловали, да вспомнили, что она преступница, красовалась теперь на ком-то более везучем.

И сквозь ледяную степь все мерещилась их усадьба... Дивный прохладный дом, распластанный среди зелени и желтизны. вышитыми руками Марии и маленькой Веры картинами, фамильными портретами, книгами с пометками карандашом и покоцанными уголками, хаотично торчащими из многочисленных шкафов. Дневники, фотографии, тонко расписанные сервизы, из которых они по утрам потягивали кофе. И сундуки с добром, которые по-свойски, ворча и причитая, укладывала их ключница... Мелочи жизни, свидетельствующие, что она вообще была. Страшно было потерять дом как свидетеля той, лучшей эпохи... Еще страшнее

упустить людей, которые когда-то воспринимались как нечто должное. Словно отречься от самой памяти. Как все они были счастливы отсутствием видимых страданий, даже мать, даже Поля. И как за вечной ерундой этого не понимали...

Вещи прошлого века – так нужные человеку истоки, ответ, откуда он пришел и как все было перед ним. Бархатные альбомы с молодыми, неестественно натянутыми перед камерой бабушками, их свадебные фотографии, перемежающиеся с засушенными цветами и наивными стихами... Даже незначительное обрастало таинством сквозь время.

Прежде Вера тосковала не по своей жизни, а по чужой, по той, которую и не начинала проживать, но которая каким-то образом проросла в ней из чужих воспоминаний и писем. Теперь же эти изысканности осыпались до тоски по базовому.

Только благодаря мечтам Вера вынесла это заточение в невыносимом здесь и сейчас. Порой от отчаяния, что она никогда не увидит малышку и Матвея, Вера всерьез думала о повешении. Но упрямство не давало ей закончить все это. Она твердо решила, что впереди ее еще ждет просвет. Как прежде после страшной бездонной зимы все же наступало весеннее отпущение.

## 2

Вера затуманенным взором, полным слез, уставилась на Лиду, бестелесно проводя пальцами по ее гладким щекам.

– Моя девочка... моя красавица... Какая же ты у меня красавица...

Ей хотелось безудержно рыдать, но она должна была держаться перед этой стройной серьезной девушкой, странно смотрящей на нее с... испугом?

Ей было всего сорок шесть лет, а приходилось начинать с нуля.

Ее амнистировали после победы в войне, отголоски которой останутся с ее страной еще не одно десятилетие. Не должны были, потому что Веру осудили больше, чем на три года, да посодействовала жена начальника тюрьмы, с которой она сдружилась. Вере даже позволили посетить Ленинград, а затем осесть в какой-нибудь Рязани, не доживая свой век в тайге в деревянном доме без водопровода.

Кули с конфетами и вареньем, которые Вера привезла дочери, выпросив денег у Артура, едва ли заменили последней обнимающие ее ладони. Ее девочка, натерпевшаяся сиротства и голода блокады, вывезенная по дороге Жизни... Уже и ее впечатлений хватило бы с лихвой на половину жизни, а было ей шестнадцать лет... Воспоминания, не обличенные в слова или не оставленные на бумаге, не так ранили, раство-

рясь в суете бытового и повседневного. Того, что всегда так раздражало Веру, но казалось теперь спасительно заглушающим.

Ей удивительным образом удалось не озлобиться. Остался только один человек, на которого Вера мечтала обрушить всю мощь своей застоявшейся нежности, уже не опасаясь быть оскорбленной отказом. Что говорить – лишения революции и суровые русские зимы неплохо выдрессировали Веру на аскетизм.

Порой она забывала о Лидии – на час или два – но грезы, какой та стала, не покидали Веру. Главным страхом ее существования оказалось то, что дочь не захочет ее знать, потому что не мать была рядом в самые важные годы крепнувшей жизни. Вера верила в исключительную природу связи матери с детьми и прошла страшнейшее для себя – после всех страхов беременности за жизнь ребенка, безумную на нем сосредоточенность, когда она даже боялась дышать – этого ребенка не стало. Дочь абстрактно существовала, а рядом ее не было. И Вера не знала, что с ней.



Вера пугалась, когда перечитывала свои старые записи. Пугалась быломому огню и никчемности, которой стала. Нет, в ссылке были и дружба, и тепло, и смех, и крошечные радости.

Теперь она жаждала спокойно сидеть с книгой под жарящей лампочкой в потертом кресле, выдавшем виды, и знать, что за стеной Лидия делает уроки или спит. После долгих лет, когда она почти не могла остаться в одиночестве, когда повсюду кружили люди, это было исцелением. Просто сидеть в какой-нибудь комнате на окраине и взирать на подернутые ночью поля, покрытые неказистыми низенькими домиками. Это здорово способствовало мыслительной деятельности, сладости, наконец, вернуть себя. Как ни странно, она успокоилась. И смирилась.

Ее самой пока не было. Не было ни Матвея, ни Полины, ни мамы, ни Ярослава... А особенно не было Лидии. Она являлась для кого-то еще, но не для Веры. И теперь было страшно подходить к ней с разговорами. Лидия, похоже, пошла в нее и так же сторонилась любого травмирующего тонкие стебельки себя разговоры...

Вера хотела поскорее начать работать. Заставить свой предательский мозг соображать, запоминать... Надо было снова научиться помнить, ведь столько вычеркнутых лет она

намеренно забывала...

Сорок шестой год... Жизнь, которую Вере пришлось начинать вместе со всеми с новой страницы. После блокадный Ленинград, помнящий слишком много того, что лучше было бы забыть. Дотла выжженная земля и до фундамента разрушенные шедевры архитектуры. И полчища призраков, о которых сохранена будет талая боль поколений.

## 4

- Бедная моя девочка... – провыла Вера.
- Ты тоже пережила немало в юности. Да и все мы.
- Это не обесценивает ее переживаний.
- Но может сделать их понятнее.

Артур, полысевший, поредевший, даже какой-то опухший, грустно посмотрел на нее. Пытался он по молодости веселиться, искать связи, разносить сплетни... Да было в нем что-то, что роднило его с Верой – скрытое понимание суеты и смехотворности повседневности, в которой он, тем не менее, и строил свое существование.

– Кто погубил Матвея? – Вера отняла от глаз ладони и воззрилась на Артура.

Его опухшие глаза потемнели.

– Я точно не знаю... – сбивчиво начал он, стараясь не смотреть ей в глаза. Ему почему-то было до ужаса стыдно и неловко смотреть на такую Веру. Прежде она олицетворяла какую-то манкую и близкую недоступность, секрет цвета ее кожи.

Вера в свою очередь не находила в друге своих голодных и лучших лет прежнего воодушевления. С трудом она припоминала затоптанные дороги на дачу, замирающие на несколько часов в пухнущем потоке сознания. Они опасались говорить о том, что каждый делал эти долгие шестна-

дцать лет – обоим было, о чем молчать.

– Этот человек, с которым он сблизился...

– Какой человек?

– Игорь, кажется... Они знакомы были давно. Они определенно вели какую-то политическую деятельность, но я не знаю подробности.

Вера издала протяжный вой.

– И что же произошло?

– У Матвея был не лучший период после твоего ареста. В то время все наложилось. Он разочаровался в работе, в политике.

– Он разочаровывался во всем каждый месяц, таков уж был его характер.

– Нет, здесь все было глубже.

– Он писал об этом...

... «прежде смеясь или критикуя, ты с удивительной легкостью разведала мои сомнения. А теперь я понятия не имею, как жить без твоего запаха».

– Он втянулся во что-то темное, начал набирать нежелательную популярность, общаться со странными людьми. Так продолжалось несколько лет. Мы, признаться, мало общались. Он... У него еще появилась женщина. Он долго ждал тебя...

– Умоляю. Он понятия не имел, отпустят ли меня завтра или никогда.

Вера осталась сидеть в той же позе, а Артур, больше не в

силах сдерживаться, повествовал уже не умолкая.

– Меня они тогда, помнишь, помучили и отпустили – отделался испугом. А за него взялись конкретно. Да и я просто канцелярская крыса всю жизнь. Эта женщина... Недобрая. Ярослав ее знал тоже... Он и Игорья знал.

– Все мы в змеином клубке.

– Они пытались представить его смерть как самоубийство. Но я не верю в это.

– Не веришь?

– Нет.

– Что ты знаешь?

– Марина... Была тогда с ним. И ее допрашивали пять минут. В тот день я видел ее. Она говорила, что они ссорились, она выбежала из комнаты и услышала выстрел на улице. Никто не видел, как она выходила из комнаты. Я много думал об этом. Выходила ли она вообще из комнаты или видела, как он направляет на себя пистолет? На себя ли? Не на нее, не она на него?

– погоди... Это так самая Марина, любовница Ярослава?!

– Ты знала ее?

– Да...

Артур столько раз раздражал Веру своей излишней болтливостью, но к концу беседы всякий раз вызывал интерес.

Игорь, вездесущий Игорь... Злой гений их семьи, созданный непутевым отцом.

– Мы до сих пор ничего не понимаем, даже спустя годы.

А тогда не понимали и подавно.

– Она там была, Вера. С ним в одной комнате в тот момент. Не возвращалась потом. Я в этом уверен. А допросили ее через пень-колоду, потому что она чей-то приказ выполняла.

Вера вспоминала, всегда жалела Матвея, насмешливого, экспрессивного, едкого и остроумного борца за правду.

Вера устало повела головой.

– Что уж теперь говорить.

– Ты не хочешь узнать, как умер Матвей?

– А сколько так же сгинуло, а убийцы их покрываемы разведкой? И что ты от меня ждешь, что я, зэчка, у которой обрубали веру в справедливость, докопаюсь до истины? Да меня на порог не пустят. Знаешь, почему христианство учит прощать? Чтобы человек не свихнулся от бессилия перед злом.

– Тебе не любопытно?

– Любопытно может быть в познании. А не в ворошении ящика Пандоры.

Артур смолк, морщась. Вера смотрела на него с откровенной жалостью. Открытый и отзывчивый, он так и не завел семью. Вместе с робостью перед тем, как легко он сходится с людьми и ко всем может найти подход, Вера немного жалела его и теперь вспомнила это. В итоге все оказались равны – и отшельники, и весельчаки.

– Не думал, что когда-то услышу от тебя одобрение хри-

стианства.

– Это не одобрение. Так больная птица молча смотрит на лису, которая к ней подкрадывается.

– Ты даже не ропщешь... – произнес Артур, словно не веря.

Вера молчала.

– Роптать мне надо было раньше. Мигрировать с отцом... Но мать не могла, Поля ушла, Матвей был на фронте...

Теперь неловко замолчал Артур.

– Кто же все-таки обрек тебя на это?

Глаза Веры стали стеклянными.

– Мало ли какие высказывания я себе опрометчиво позволяла... А соседи уже тогда начинали выполнять свой гражданский долг.

– Но тогда бы и Матвея сцапали.

– Не знаю я... Правда не знаю. Тяжело так жить... В такой несправедливости и нищете повсюду.

– Как тебе удалось избежать фронта?

– Здоровье мое... не сгодило даже туда, – ответил он, отведя глаза.

– А дальше что? После войны-то? Вот все мы кричали, что, только кончится она, заживем... Заживем... В нищете тотальной? С перебитыми мужчинами? С ними плохо, а без них еще хуже. Даже без алиментов – гуляйте, хлопцы. Женщинам-то есть не надо. Только по карточкам еду в обрез получать, да пятьдесят рублей за нагулянного ребенка. Муж-

ская война закончилась. А наша продолжается веками. История до ужаса циклична, особенно если власть намеренно делает скот из своих подданных.

Как прежде зимой нельзя было впадать в меланхолию, иначе она надолго бы утянула в свои черные берега... Нужно было из последних сил цепляться за робкие солнечные лучи.

– Хотя бы дочь после него осталась... – потерянно заметил он погода.

– Это дочь Ярослава, милый, – тихо сказала Вера с какой-то жалостью.



Вера бессильно своим все еще живым мозгом пыталась воссоздать в воображении, что бы они почувствовали, доведись им с Матвеем встретиться. «Дети страшных лет России». На свободе каждый день хлестал через край событиями, людьми и вдохновением, даже когда поздней осенью обманчиво виделось, что ничего не происходит. Тогда какое-то значение имели политические споры, отстаивание этой требухи, которая только перепалывала людям жизни, лишала их любимых и без сожаления посылала на смерть. Тогда один нежный взгляд незнакомца мог побудить жажду неизведанного и угрызения совести, а ночи были созданы не для тяжелых дум о прошлом под аккомпанемент бессонницы, а для неизбежного поиска себя под терпким светом ламп на подоконнике. Теперь же Веру больше заботило, как бы устроиться ночью так, чтобы ее не продуло и притушить вьедливую боль в ногах, заслуженную на севере.

Может, к лучшему, что Матвей не увидел ее с этими неумолимо опускающимися щеками и кругами под глазами. В его памяти она навсегда останется юной матерью его единственной дочери, безвестно канувшей на каторге без надежды на возвращение. Да и она не застала его полысевшим и отчаявшимся от всего, что творилось вокруг.

Только с Матвеем ей было хорошо так же, как с собой.

Вера обманывала себя, что страсть прошла, предпочитая книжную логику несуществующих людей трезвому взгляду на свои чувства. Они с Матвеем позволили друг другу слишком много по обыденным меркам, считая себя модными. А в итоге пришли к тому, к чему приходят пожилые пары – к тихому сродству.

## 6

– Твой отец, – глотая так и не выплеснувшиеся слезы, попыталась спросить Вера, но смолкла.

Она хотела поговорить о Матвее. Лида смотрела на нее с болью. Затем в ее глазах мелькнула сталь.

– Ты думала, я не знаю, чья я дочь.

– Кто сказал тебе? – проронила Вера, чувствуя легкую дрожь и понимая, что ей не за что зацепиться, не у кого попросить помощи. Внутри она улыбнулась, что еще не научилась бояться.

– Во время войны он навещал Артура. Сначала он, конечно, ничего не понял, назвался другом семьи, посочувствовал потере отца. А потом почему-то уточнил год моего рождения и наличие у меня братьев или сестер. Забавно, что мой родной папаша все обо мне знал, но не удосужился сам со мной связаться.

Вера вспомнила колющее чувство вины от сознания, что Ярослав не будет иметь доступа к собственному ребенку. Выходит, что тогда она рассудила верно, а его порыв альтруизма скоро прошел. Каждый хоть иногда разыгрывает драму без дальнейшего ее продолжения, свято веря в свои лучшие побуждения.

– Матвей узнал? – спросила она со страхом.

– Нет. Он уже был мертв, – Лидия помедлила, уже жалея

о том, что собиралась сказать. – Не очень-то приятно знать, что собственная мать не хотела твоего появления.

Вера застыла.

– Если бы я не хотела твоего появления, как ты заявляешь, – выдавила она с дрожью, – я бы выбросила тебя в корзину для медицинских отходов. Но я хотела, чтобы ты родилась. Как и твой отец.

– Который из двух? – с непонятной для Веры отрешенностью выдала дочь.

Веру охватила невообразимо странная констатация того, что ребенок, который когда-то был частью нее, имеет собственное сознание. И что к этому факту она так мало причастна... Что теперь оставалось? Выискивать в Лиде семейные черты, чтобы хоть как-то успокоиться?

Ярослав, непоколебимый мужчина со всеми задатками баловня судьбы сгинул на фронте, как миллионы своих соотечественников. А каков был диапазон его влияния на людей, как она сама тянулась не столько к нему, сколько к его авторитету, потому что видела, с каким уважением на него смотрели другие мужчины... Ярослав – ее сфинкс без загадки, как Любовь Блок.

Выросшая в тонком кольце окутывающего женского, Вера привыкла, что между женщинами всегда существует какой-то сговор. Они могут быть недовольны друг другом сколько угодно. Но всегда есть то, что женщина расскажет женщине и никогда-мужчине. Они обсуждались сколько

угодно, и первой это правило нарушила Полина.

– Милая, – с жалостью, продиктованной непониманием, произнесла Вера, – если отец хочет видеть своего ребенка, никакая сила его не остановит. И то, что тогда я от него отгородилась ради Матвея... Я ведь знала, что, стоит ему открыть рот, все полетит в тартарары. Но он не открыл. А перед тобой предпочел отбелиться, очернив меня. Он знал, где ты живешь, где живет Матвей. Вы места пребывания не меняли. А я не могла сказать Матвею. Это бы уничтожило его, потому что он очень хотел нормальную семью, которой сам был лишен.

Лида зажмурилась.

– Только Ярослав был мой личный. Остальных передарила Поля. Твой отец был моим лучшим другом. Первым, кто меня увидел и научил общаться с людьми. И единственным, кто восхищался мной больше, чем я им.

– Я столько всего не знаю из-за того, что меня лишили... Меня лишили семьи! Базового! И я должна обожать эту страну?! Я не могу узнать, какой ты была в юности, каким был папа! Что вас окружало и о чем вы думали, потому что меня вас лишили! Лишили!

Вера без удивления заметила, что сохранила способность лить слезы.

– Я... Расскажу все тебе. Обо всех. О своей сестре, о твоём настоящем отце... Расскажу, что смогу. Ты исполнишь это. Ты вспомнишь то, что вспоминаю я... Каждый должен знать

предтечу своей жизни. Другие... Те, кто не верит в преданность или... в то, что забыть невозможно... Это твари, Лида. Обесценивающие глубокие души других. С годами... и до того мистически стертые воспоминания приобретают совсем невыносимый оттенок.

Вера наткнулась на погрустневшее лицо дочери. Ей стало не по себе – она так напоминала Ярослава... Вера со страхом подумала, поможет ли это им стать ближе... Она хотела целовать дочь, целовать и плакать... Но что если она была крепка, как ее отец, и не терпела сентиментальности?

– Он спрашивал о тебе.

– Кто, родная?

– Оба.

Вера горько усмехнулась. Когда-то это было так важно... Отголоски польщенной благодарности она почувствовала и теперь. Возрождение... Восхождение...

Лида простила мать. Она по-настоящему и не начинала ее осуждать. В неприятии матери она лишь выплеснула годы сиротства и отчаянной тоски по ней, уродующие своим правдоподобием.

– Я так скучала по тебе... Хотя нет, это слово не то... Я представляла тебе себя каждый день.

– Я тоже, я тоже... Наверное, я тебя разочаровала.

– Ты всегда была во мне. Страхи твои беспочвенны, – добавила Лида. – Я росла, слушая рассказы отца о тебе.

Вера отметила, как изящно выражается дочь. И мысленно

поблагодарила Матвея с Артуром. Вновь полоснула боль – сколько она хотела дать дочери сама...

– Мы так совпали с Матвеем, как никто. Я шутила, он смеялся. Он начинал фразу, я заканчивала. По сути, нам никто не был больше нужен, хотя я все время искала кого-то. Искала, чтобы каждый раз убедиться в том, что мне просто достаточно вернуться домой. И как хотела вернуться домой к вам... То были двадцатые годы – как говорят, худшие годы в нашей истории. А я не помню этого. Помню заполненные смыслом вечера с мужем. Как он только умудрялся оставаться чистым?! Он говорил мне так часто, что он ужасный человек, что думает черти что. Но мы все думаем черти что, а говорят о нас отнюдь не слова, а действия... Но сейчас мне больше всего хочется, чтобы ты полюбила меня. Мне больше всего всегда хотелось, чтобы меня любили. А ты... Ты заполняла мою жизнь куда больше прочих, еще до твоего рождения. Уж теперь я понимаю, что важно на самом деле. Прежде мне казалось, что человек, поболтавший со мной двадцать минут, уже мне друг...

– А ты думаешь, мне легко было понять, что у меня есть другой отец, которого я не любила и который не любил меня? Думаешь, легко это?

– Нет, не думаю. Я много, слишком много думала обо всем этом. А теперь уже будто не могу – я катастрофически устала. Я просто хочу побыть в тишине собственной головы.



Лида молчала и только смотрела на мать. Вечная сирота с живой матерью... С двумя мужчинами, поспособствовавшими ее характеру – непонятному калейдоскопу обоих. Вот она, ее Вера, смутный свет ее худших дней на подоконнике в выглядывании единственного нужного силуэта... Как дети без отцов поэтизируют их в противовес вечно уставшей в хлопотах матери, она обесценивала и Матвея, и Артура. Неведомая, прекрасная мать, о которой столько говорили оба ее воспитателя – самая умная, самая милая Вера, трепещущая душа. Лида помнила и громкое бешенство от того, что у нее отняли самое дорогое, хотя окружающие тщательно делали вид, что ничего особенного не случилось. Чутьем Вера не верила, что человек без родителей может стать счастливым.

Лида припомнила, как в день назначенной встречи села на полу возле двери, на какой-то момент перехотев совершать то, о чем мечтала всю жизнь. Волнение и страх разочарования на миг пересилили неистовую жажду обрести ту, без которой жизнь была неполной...

Вера настолько одичала в небывалой изоляции своего разума, что ей труднее, чем когда-либо, теперь было излагать свои мысли, выходящие потоком темно-смутных образов.

– Была у меня там подруга, товарищ по несчастью... Вместе до отправки туда мы здесь просидели добрый год. А потом она умерла от какой-то болезни, уже когда раскидали нас. Замучили... Почему-то большинство наших колыханий

под конец жизни оказываются до нелепого бессмысленными. Как бесконечная покупка вещей, которые не пригодятся. Мы бежим из деревни в большие города, чтобы реализовать себя, а под старость возвращаемся на лоно природы, чтобы отдохнуть от блокирующей суеты и немного подумать о главном. Вокруг нас столько обманок... Порой у меня слишком много качеств, а порой мне наоборот кажется, что я сжимаюсь в точку.

Вера издерганно повела плечами. В отношении собственного внутреннего она до сих пор была горда и ревнива до изнеможения. Вера дошла до того, что интуитивно знала с детства – сказанное редко имеет значение.

Лида подняла на мать затравленный взгляд и встретила с ее глубокими глазами, меняющими цвет от освещения. Глазами спокойными, почти не обнажающими затаившейся в них боли.

Нет, она не собиралась клясть свою участь. Странно... Эта невысокая расплывающаяся женщина мягкого и слегка потрепанного, даже тяжелого вида внушала Лиде гармонию. После лагерей... Ее мать внушала ей гармонию... Будто торжество моральной силы, невзирая на что-то уставшее и отчаянное во взгляде, побеждало и желание отомстить и отчаяние. Лиду пронзило сладкое и пугающее чувство – она захотела научиться этому.